

Б И Б Л И О Т Е К А

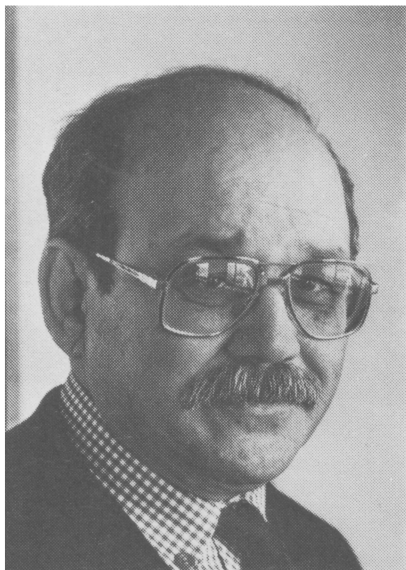
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 37

1989



Евгений
ДОБРОВОЛЬСКИЙ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

ЗНАЕТЕ, ПОНИМАЕТЕ...

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 37

Издается с января 1925 года

Евгений ДОБРОВОЛЬСКИЙ

ЗНАЕТЕ, ПОНИМАЕТЕ...

РАССКАЗЫ И ФЕЛЬЕТОНЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1989

Евгений ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Евгений Николаевич Добровольский родился в Ленинграде, живет в Москве, по образованию инженер, окончил Московский инженерно-строительный институт, член Союза писателей СССР, автор нескольких романов, повестей, сборников рассказов и фельетонов.

ЗНАЕТЕ, ПОНИМАЕТЕ...

Председатель был молод и задирист и все вспоминал, как они в Москве выступали с одним космонавтом. Космонавта он деликатно называл полковником, просто полковником без имени, они в гостинице выступали не то «Россия», не то «Юность» после заседаний комсомольского съезда, на котором оба были делегатами. «Ну, полковник,— говорил председатель,— ну, заводной мужик...— И щурился, и качал головой, и шофер Петруччио, конопатый деревенский парень с большими руками, тихо хихикал, потому что, наверное, знал какие-то подробности, которых нам председатель не сообщал.— Ну, полковник, ну, такой прямо затаенный...»

Потом председателя снимут, мне рассказывали, что у него окажется лишних 150 коров, они нигде не значились, план на них не спускали, а молоко шло в колхозные показатели и очень влияло, там еще что-то выяснилось, какие-то деньги, следователь приезжал из области, Толик Перегудов, зараза: «Был бы человек, статья найдется» — такая у него приписка, и еще: «Знаете, понимаете» — через слово. Сколько выпито было, кто считал! не об этом речь! — продал, не продал, у него инструкции, завели дело, председатель нажал на все педали, может, он даже и своему космонавту в Москву звонил, я не знаю, рассказывали, его вызвал к себе новый секретарь обкома, импозантный мужчина в строгом костюме, с депутатским значком — я его видел один раз на активе — покачал на руке толстое дело — хотя с какой стати? — и сказал, что вот, мол, голубчик, доигрался, а потому иди-ка на самый отстающий совхоз, поднимешь — простим все грехи молодости, не поднимешь — на себя и пеняй. Председатель заплакал и согласился, но я не о том. Был еще с нами той душистой весной архитектор Михаил Николаевич, большой хвостун и лауреат. Мы ехали из Москвы на его новой белой — цвета «белая ночь» — машине, за рулем сидел колхозный шофер, который специально прибыл из «Альбатроса», потому что архитектор был стар, машину держал больше для престижа — ему одна журналистка сдавала гараж, и он очень об этом рассказывал, потому что отец журналистки был в свое время знаменитым генералом, а наш архитектор любил людей знаменитых, чем и провоцировал председателя на воспоминания о том, как они выступали с космонавтом. Архитектор сидел рядом с шофером и в ма-

леньком портфельчике из темной сафьяновой кожи держал на коленях все документы на машину — техпаспорт, свои новенькие, совершенно девственные права и еще красную, тоже сафьяновую книжку — диплом лауреата. Когда нас останавливали, а это случалось часто: в Москве, потому что шофер не знал Москвы, а на шоссе, потому что совершенно расхристанный его вид — копна нечесаных волос, нависших над его от рождения деформированной конопатой физиономией, какая-то немислимая оранжевая фуфайка, торчащая из-под голубой синтетической дамской куртки, которую он на себя напялил для фасона, собираясь в столицу, куртка была финская — на какую бабу она была рассчитана, мы так и не поняли, — так вот, весь вид нашего шофера настораживал сотрудников ГАИ, нас останавливали, и тогда архитектор Михаил Николаевич быстренько доставал свой лауреатский диплом. Гаишник добрел на глазах. Добрел и непременно интересовался, за что товарищ удостоен столь высокой награды. Архитектор, оживившись, начинал рассказывать про архитектуру. Интерес к нему сразу пропадал. Нас это очень раздражало: в самом деле, зачем инспектору дорожно-патрульной службы архитектура? Что изобрели? Скажи, гаубицу! Здоровую такую гаубицу, до Луны запросто можно трахнуть, а там еще что-нибудь присочинить по настроению, допустим: с платформы бьет. Человек обогатился, все хорошо, вечером будет рассказывать в семье, что сегодня остановил на шоссе одного секретного академика, профессора академических наук, умного мужика, конструктора новейших систем. Правда никому не нужна! Архитектор нас не понимал и сердился. Он вообще очень почтительно относился к своей профессии. Он ее уважал.

А шофер был в валенках, в серых, размятых, расхристанных деревенских валенках с калошами, хотя уже во всю ивановскую разливалась и сияла весна, лужи тянулись по обеим сторонам шоссе, припекало и ярко, до боли слепило солнце.

— Петруччио, — говорил председатель, обращаясь к шоферу. — Ты не сопрел?

— Неа...

— Печку убавь.

— Шут с ней.

— Петруччио, а как у нас насчет картошки дров поджарить, к единутробным девкам когда едем? — спрашивал председатель, усмехаясь и подмигивая мне и толкая меня локтем в бок. При этом он порывался спеть: «Девки спорили на даче...» — чего-то там они спорили, но всех слов не знал, и я понимаю, что все это — и непривычное «Петруччио», и ехидная улыбочка с подмигиванием, и, наверное, песенка про девок — все оттуда, из той неведомой мне комсомольской жизни, из «России» и «Юности», потому что председатель хотел выглядеть светски.

Архитектор помалкивал. Он сердился. Потом его тоже обвинят в самый разгар борьбы с нетрудовыми доходами, что он будто бы завышал сметную стоимость, получал с колхоза больше, чем следовало, хотя, сколько следовало, никто толком не знал. У него были крупные неприятности, и, пожалуй, все это можно было предвидеть, но была шальная

весна — свежий, летящий ветер в приоткрытом окне, мокрые леса, запахи снега, разливы рек, в самом деле подобные морям, и музыка, которую, похрипывая, наигрывал наш приемник. Архитектор не умел сердиться подолгу, а потому, крикнув, неожиданно поворачивался к нам и начинал вспоминать.

В молодости он строил многопалубные пассажирские суда для океанских трансконтинентальных линий, реконструировал разрушенные войной порты, перестраивал морские вокзалы, волноломы, причальные стенки... Он вспоминает, что носил морскую форму, темный китель капитана дальнего плавания — ему немец один сшил — и на верфях многоопытные корабельные столяры, с которыми он любил общаться, рассуждая о непростых тонкостях дела, называли его не как-нибудь, а наш капитан. Он вспоминает. Ему приятно вспоминать. Он всегда любил море и дерево.

— Самый благородный материал, я вам скажу, — говорит он. — Мы дурачки, забыли дерево в наших каменных, бетонных и стальных городах, в наших коробках, и мы, может быть, неосознанно, но тоскуем по нему. По веточкам, по листикам. По теплу, по щедрой ласковости, по прожилкам, в которых рисуется кому просто узор и узор, а кому линия жизни... Эх, дурачки...

Архитектору давно за семьдесят. Большая часть жизни прожита в Москве, море не в счет, хотя Москва тоже столица пяти морей.

— Балтийское, Белое, Черное, Каспийское... — встрепенувшись, считает председатель, зажимая пальцы. — Четыре! — И неожиданно вспоминает Цимлянское. — Пять! Пяти морей.

Сходимся на пяти и едем дальше.

Михаил Николаевич строил (он говорит — **возводил**) в Москве жилые многоэтажные дома, один высотный дом, рестораны, кинотеатры, Дворец пионеров и был удостоен Государственной премии, за что конкретно, мы так и не поняли: как раз когда он подходил к сути, ГАИ теряло к нему всякий интерес и возвращало нарядный диплом, скучным голосом желая счастливого пути. «Будьте осторожней».

В общем-то когда-то ему не повезло, что-то у него там не сложилось, в прежней его жизни, а то с какой стати было вспоминать ему слова знаменитого генерала, который считал, что отличился **недостаточно** (так выражался тот генерал, в гараже которого стояла его машина), и он хотел, мы это понимали, в ту весну начать все сначала.

Над ним подсмеивались его коллеги в Доме архитектора на улице Щусева, у них там своя компания собирается, теплая такая компашка, все пенсионеры, дети солнца. «Это у него скорей всего случайное увлечение», — говорили одни. «Это пройдет», — снисходительно соглашались другие, и был там один среди них с небрежно повязанным бантиком, пижом и струкулист, похожий на кота, который особенно досаждал нашему зодчему и, выпив свою чашку жидкого черного кофе, говорил: «Зачем вам эта карусель, Миша?» Нет, нет, нет, все было не так просто!

— В молодости работаешь для женщины. Надо понравиться, доказать, завоевать. Все языческие какие-то импульсы. В мои годы хочешь гармонии, хочешь докопаться до смысла и понять. А чего понять? Я и сам не знаю чего... — Это он добавляет чуть погоды и поднимает

вверх руку в перчатке, чтоб ударить в подволок. Раз и еще раз. И тоже самое другой рукой.

На следующий день, разоткровенничавшись, сидя верхом на потолочной балке нового дома, еще не подведенного под крышу, еще пахнущего живым лесом, острым скипидарным настоем еловых опилок, маэстро вытягивает ноги в каких-то немислимых, совершенно обалденных сапожках на высоком каблучке и продолжает:

— В молодости любовь, страсти. Кошмарное дело! Все это, помимо всего, требует уйму времени и делает тебя зависимым от случая. Зрелость приходит медленно. Она не есть продукт дряхлости, она должна освободиться от шелухи.

— Да какой же вы старый! — возмущается бригадир Николай Иванов, не Иванов и, с мягким чмоком вколов топор в бревно, кособоко тянется в карман за папиросами: разговор обещает коснуться интересных тем. — Где ж старость? Не вижу... Вы бойкий товарищ. Вчера, как приехали, бабоньки наши спрашивают, вы из машины вылезаете, а скажи, сколько годов Михаилу Николаевичу. С фермы шли. Женщины...

— Годов... — грустно усмехается наш архитектор. — Годики, ходики, спешат себе, спешат... Не ценим минуты.

— Золотые ваши слова!

Мы сидим на потолочных балках, сверху хорошо видно, как петляет, дымится на припеке мокрая дорога, ведущая в райцентр, слева — здание колхозной фермы, грязный, раскисший двор, навоз и ключья еще не растаявшего снега, гора сена, прикрытая парусицей на ветру полиэтиленовой пленкой, перед распахнутыми воротами буксует трактор с выломанной дверцей, виден профиль механизатора, его армейская куртка с серо-голубым цигейковым воротником, на солнце ярко посверкивают пуговицы, ветер доносит завывание мотора; справа — вышки высоковольтной передачи широко шагают через озимое поле далеко, далеко за притихшие леса, закрывающие линию горизонта.

— Красота, — говорит маэстро мечтательно-отрешенным голосом.

Бригадир Николай одобрительно крикает, разлапистой желтой ладонью отгоняя на сторону едкий табачный дым, удивительно пахнущий в весеннем воздухе и вызывающий головокружение.

— Если серьезно, со всей ответственностью задуматься, — продолжает наш дядя Миша, поигрывая бровями, — человеку нужен дом, жилище, очаг, без очага человек на этой земле квартирант.

— Бездомный.

— Это ладно, бездомный, он не может быть счастлив. Четыре стены нужны человеку и крыша над головой, так природой устроено и что тут поделаешь?

— А ничего! Факт надо понимать, — соглашается бригадир Николай и хочет рассказать, как у них, на правлении, распределяли жилье и какой Сталинград женщины устроили: с детьми пришли, с пеленками, старух посадили в коридоре, плач, визг, у всех справки. Он так и гово-

рит — Сталинград, но продолжать не может, потому что гость перехватывает инициативу:

— Душа болит! Человеку дай дом, крышу над головой, тогда культуру с него требуй, тогда трезвый образ жизни будет, производительность труда, качество, любовь к отечеству, все вместе, а не шуры-муры, не просто слова о любви.

— Любовь нельзя требовать, — говорю я.

— Оставьте! Вечно вы к слову цепляетесь.

Плотники принимаются за работу. Работают не спеша, ловко, все у них играючи получается, и, полюбовавшись работой, сверив реальность с чертежом, маэстро враскоряку спускается вниз по приставной нестойкой лестнице, раздирает «молнию» на кожаной своей курточке, потому что наверху ветер, внизу же, на земле, разливается умиротворенная, расслабляющая весенняя теплынь, наполненная сложными запахами деревенского бытия — мокрой, подсыхающей земли, талого снега, коровьего навоза, прошлогодней, пыльной ромашки, буйно разросшейся на пустыре, вплотную подступившем к строительной площадке, то есть к задам новой улицы, — таков масштаб: строится улица, сразу четная и нечетная сторона, сразу два ряда одинаковых рубленых домов-близнецов, слева — крыльцо, справа — крыльцо, слева, справа, все по ранжиру, одинаковые изломы крыш, одинаковые окна, и на каждом крыльце по два одинаковых резных столбика, будто шагнувших из другой эпохи, с крыльца боярского терема, и наличники на окнах одинаково украшены той же резьбой. (Приехал из Москвы умелец с электромотором и вот режет по трафарету с утра до обеда, когда не пьет. А по вечерам пьет неприменно и портит девок и каждой говорит: «Я — художник дизайна». Его били, но председатель строго-настрого запретил. Сказал: «Отставить!» С нас, сказал, не убудет.) Все продумано на этой улице, размечено, признано оптимальным — и линия общего забора, и хозяйственные постройки, равно отступившие в глубь прямоугольных дворов, и дорожки от не навешенных еще калиток до крыльца, с одинаковым для всех количеством ступенек, по шесть на каждый дом, и лезет в голову мысль о новгородских военных поселениях, Арацееве, солдатчине, бунте, бессмысленном и беспощадном, и всякая подобная ерунда, что очень злит председателя.

— Да с какой стати мы кажениый дом должны заделывать по индивидуальному проекту? — заводится он. — Другую улицу будем по-другому ставить. Вот когда я был в Болгарии, тоже, между прочим, социалистическая страна...

Через дорогу, по весеннему времени ставшую почти непроходимым рубежом — мы с кирпичика на кирпичик ее преодолеваем, — лепится старая деревня, улица, на косогоре над речкой, еще не освободившейся от рыхлого снега, — домишки, домики, терраски, шифер, ржавое железо, облезлые трубы с выпавшими кирпичами, заплаты из случайных материалов — фанера, жест, кусок неведомо как оказавшегося здесь авиационного алюминия. «Рашен пипл!» — с каким-то даже остервенением говорит председатель, привычным взглядом провожая телевизионные

антенны на голых шестах, все сориентированные на Москву, не убранную еще вату между рамами, усыпанную для красоты серебряными мелко нарезанными бумажками от конфет и цветными ленточками, украшенную почтовыми поздравительными открытками с Чебурашкой, — и откуда он только взялся этот милый Чебурашка с плюшевыми ушами в русской деревне рядом с зайчиком «А ну, погоди!» и юбилейным солдатом, строго сжимающим обеими руками в верблюжьих перчатках АК — автомат Калашникова. Под кривыми окнами лавочки — серые доски на косо вкопанных столбиках; голые еще сирени и черемухи, пожухлые стебли георгинов и золотых шаров кое-как прикрывают весеннюю наготу. Когда-то здешние места славились фруктовыми, яблоневыми садами, но лет тридцать назад — точной даты никто уже и не помнит — вышло строгое постановление, и до сведения довели и разъяснили, что каждую яблоню впредь обложат налогом, а раз так, от греха подальше их вырубili сами же хозяева, и уж пеньков не видно от тех садов. Иногда случайно возникнет у забора одинокая гибкая вишенка, память прошлого, но это несерьезно. Потом были еще разъяснения и еще, и все это кампаниями прошло, не оставив точной цифры: сколько их было? Одно время — это уже последнее на памяти — занялись было колхозники своим приусадебным хозяйством: телок завели, поросят, и мясо в город возили, и себе хватало, чем плохо? Но тоже строго разъяснили, что все это отвлекает сельского труженика от общественного труда, он только о личной выгоде думает, и со всем этим покончили. Так и стоят с той поры пустые серые сараи, ветер гуляет в поветьях. Теперь некоторые стали брать у колхоза на откорм бычков. Выгодное дело! Но берут неохотно, и тут видится нашему председателю большая проблема непонимания главной задачи.

— Отучили, понимаешь ли, человека работать! — говорит он, почему-то понижая голос, будто кто-то может нас услышать на пустынной улице. Перед нами на подсохшей кочке пыльный маслястый петух жесткой лапой разгребает прошлогодний мусор и подзывает к себе своих подруг, и они, толкаясь, все сразу кидаются к нему, точно открыли еще одну кассу.

— Я вот, между нами, — говорит председатель, оглядываясь, — должен человека на свою сторону привлечь, а как, дайте совет, ежели он ни во что не верит? Он в Москву съездил, отоварился: мешок вареной колбасы на горбу привез, сидит у себя и смотрит этот ящик от звонка до звонка, и работать на папу Карлу с Буратиной у него желания нет.

— Жилье, — говорит архитектор. — Дом надо человеку давать.

— А пети-мети откеда? — со злобой говорит председатель, сверкая глазами, и делает такой жест, словно считает деньги. — Откеда пети-мети, дядя Миша, дорогой, если он работать не хочет? А?

— То-то и оно, — вздыхает дядя Миша, и так мы идем по старой деревенской улице, сладко пахнущей дымом и талой водой, и председатель, отшвырнув ногой подвернувшегося петуха, рассказывает, как его выбирали председателем и как он на общем собрании поднялся на трибуну и начал с нового поселка, и такую картину Рубенса нарисовал, что

куда там! Все кричали, и такие были прения, что инструктор райкома, который привез его сватать, сказал: «Это ты, пожалуй, лишку давал, Вова».

— Вот когда я был в Венгрии, — говорит председатель. — Там деревни — игрушечки, холодная, горячая вода, цветы, культура. А мы что, не можем?

В общем, на том собрании всем миром постановили развернуть строительство, возводить не только фермы, мастерские, гаражи, навесы хозяйственные, но и в первую очередь жилые дома. Возводить современно, со всеми городскими удобствами, чтоб была в доме эта горячая и холодная вода, это центральное отопление, на кухне газ, хочу, пожалуйста! ванная, уборная, не по морозу хозяйке бегать, кафельный пол, культура! чтоб перед домом не просто огород, как Бог на душу положил — огурцы, укроп, но ботанические цветы! и чтоб прямая дорожка вдоль улицы осенью не утонула в грязи, а радовала бы колхозника асфальтом, и фонари, красивые фонари, как в Англии — наш председатель в Англии был с молодежной делегацией! — фонари на высоких прямых столбах освещали бы в темное время суток, в ненастный ивнинг (по-русски — вечер) дорогу идущему в гости или домой из тракторного гаража. Тут-то председатель и понял, что без архитектора никак не обойтись, нужен архитектор. Где взять? Привез одного из области хроменького в плаще, в шляпе, целый день месили грязь, смотрели, где что можно построить, вечером отпарились в бане, сели беседовать. Архитектор пил водку, вздрагивал плечом, говорил: «Ух, круто!», и крупный жемчужный пот катился по его равнодушному лицу. Потом он попросил тетрадку и карандаш и, вдруг загоревшись, что-то пытался рисовать, но карандаш ломался в непослушных руках, и еще он подлизывался к председателю, подмигивал: «Я тоже деревенский. Свой деревинь-дервинь... Ты, Вовка, в душу мою загляни!» Председатель понял, что культурки у человека маловато, и насчет знаний засомневался. **Зачник.** А тот разгулялся, песню пел про то, как по деревне идет Ванька и играет в гармозень, ах на нем новая рубаша, ах на пузене ремезень. Председателю стало обидно.

— И что мне в душу его заглядывать? — вспоминает, он, брезгливо подрагивая молодой губой. — Мне дело делай, а дела нет. Не тянет. Какая уж тут душа...

Тогда решено было поехать в Москву, найти знаменитость, поклониться в ножки и убедить. Кто-то указал на Михаила Николаевича, и вот они встретились, и председатель сказал, я из колхоза «Альбатрос», не предполагая, что всякое напоминание о море — радость для нашего маэстро, он это как комплимент принимает, ибо на полном серьезе готов настаивать, что настоящий художник должен быть готов сорваться с насиженного места, поднять якорь прожитых лет и привычек, и уйти, уплыть, скрыться с глаз долой, помолодеть, заняться любимым делом, открыть для себя новые неведомые острова в зеленом и синем (зеле-

но-синем) океане жизни. Так он выражается, и очень ему это по душе, насчет тяжелого якоря и неведомых островов. Он всегда любил море. Море и дерево. Море осталось чудным воспоминанием. «Мальчишки, — говорит он нам, — учитесь беречь свои воспоминания, это большая культура!» А любовь к дереву оказалась постоянной, волнующей, решительной силой, зовущей к действию. Для начала он все-таки поинтересовался, откуда эдакое морское название у колхоза, расположенного в русском сухопутье, и выяснилось, что, когда создавали колхоз шестьдесят лет назад, кто-то из первых колхозников, очевидно, бывший моряк (комсомольцы хотели было создать музей, искали его фотографию, не нашли), рассказывал про гордую птицу, парящую над разбушевавшимся морем, показывал зеленую наклку на широкой груди. Ветер двадцать девятого года откидывал полу его овчинного тулупа. «Вот, хрипел морячок простуженно, выкидывая вперед темную руку, — смотри, моя эмблема! Он ничего не боится, орел морей!» — И бил себя кулаком в грудь, а поскольку того матроса уважали или даже побаивались, то имя гордой птицы, без страха реющей над океанскими волнами, показалось красивым, звучным, и главное — был в этом имени большой подтекст, подчеркивающий, что колхоз не боится трудностей и если что, готов перенести любые социальные штормы.

В доме для приезжих, в котором, кроме нас, жил гладкий, на редкость ленивый кот Барс (он же Барселончик), хозяйка Маруся, убиравшая наши комнаты, молодая еще женщина, стыдливо прикрывавшая кончиками пальцев отсутствие двух передних зубов, сказала то ли просто утвердительно, то ли с долей восхищения даже:

— Галстуки у вас, Михаил Николаевич, чисто европейские!

Галстуки были самые обыкновенные, наши, советские, но Михаил Николаевич малодушно смолчал, хмыкнул только, однако вполне удовлетворенно. Наш архитектор честолюбив, любит все яркое, броское, ему нравятся дорогие авторучки, всякие ремешки, подтяжки на клипсах, фломастеры, одоранты с терпким запахом свежей зелени и одеколоны, и когда в свободную минуту в берете, с мольбертом через плечо он не спеша шагает по деревенской улице куда-то на этюды, бровастый и сосредоточенный, на него во все глаза смотрят и стар, и млад. К нему еще не привыкли.

— Мы по-новому хотим жить, — говорит председатель, — все современно, со вкусом, небанально! Не изба, коттеж нам отдельный на каждую семью. — Он говорит «коттеж», а не «коттедж», и сразу не поймешь, с юмором он это или на полном серьезе, потому что наш председатель полон снисходительности к окружающему миру. (А может, это метод: так оно проще — если в чем и ошибешься, то ведь по простоте!) — люди желают красиво жить! Новый клуб нужен, кафе... А почему нельзя кафе? Зал хотим для праздников, чтоб свадьбу, чтоб юбилей колхознику отчебуить. Спортивный объект хотим возвести, чтоб молодежь от нас не убегала к вам в лимитчики. Можно, чтоб небанально? Я от печки,

— заводится председатель и в самом деле буквально начинает с того, как хозяйки пекли хлеба, каждая у себя в избе, как грелись старики — такая была аптека — от всех болезней помогала! — от простуды, от прострела, от крупозного воспаления легких... — затем вспоминается, как сушились грибы и пахучие травы, как дети по приступочкам забирались на печку послушать сказку, и делается вывод — вот оно почему и стала русская наша печь непременным символом домашнего уюта: тепла, благополучия. А ныне? Что ныне? — такой вопрос задается в сердцах. Кто печет у нас собственный хлеб? Нет таких! Если только по выходным... Некогда да и невыгодно! Русская печь много места занимает, и хоть она дорогой образ в песнях, в воспоминаниях, в стихах, современный крестьянин не дурак, он очень охотно от нее отказывается — на, ломай! — если предложишь ему центральное отопление. Символы в реальной жизни не так уж много стоят, вот ведь что оказывается на поверку! Все переменялось. Все смешалось. Старые мерки не годятся. сегодняшняя деревня спешит за модой, доярки очень со вкусом одеваются, ходят в бельгийских кожаных пальто да в турецких дубленках, английские туфли им по списку выдают, чтоб молодежь на ферму привлечь.

— Не метод, — печально роняет архитектор.

— Метод не метод, — огрызается председатель, — а в каждой деревенской семье телевизор, радиоприемник, свои «Москвичи», «Нивы», значит, нужны свои специалисты — портные там, которые могут шить, как в городе, механики там, техники, вот оно. А нас все тянет к старине, будто мы как были в эпоху Петра Первого, так там и остались! Живем в подвешенном состоянии, в рай хотим, а грехи не пускают. Вы видели, как спутник пролетает над деревней серебряной звездочкой? Нет. А я тридцать лет как вижу, ну там плюс минус каждый вечер. Новое поколение выросло, а мы не думаем... Ох, не думаем... Ох, нам это еще покажет себя!

Начинается разговор о том, как было раньше, как мужики сами ставили себе избы. Не в одиночку, конечно, такое дело в одиночку не поднимешь. Друзей призывали, соседей или семей — папа и два-три сына, сначала старшему ставят дом, затем — среднему, затем — младшему, мизинному. И невестки помогали, и родственники. Специальные артели одиночные дома не ставили, пожалуй, так, ну, если самую тяжелую работу выполнить, призывали умелых людей со стороны: вязать сруб, настилать полы, вывешивать потолок... Еще со стороны, это непременно, брали умелого печника, про которого шла молва, что сложенные им печи как-то особо хорошо и экономно греют, держат тепло, и в трубе нет воя, ибо это, можно представить, какая жизнь, когда холодными, зимними ночами в темноте воет неприкаянный ветер. Старший брат рассказывал председателю, что у них там, в деревне, еще давно один прижимистый хозяин не расплатился с печниками и те замуровали ему в дымоход не то пустую бутылку из-под шампанского, не то просто граненый стакан, только такое началось, хоть беги! Воет и воет.

— Деталь,— говорит архитектор с мечтательно-мстительной усмешкой, точно перед его мысленным взором возникает тот с бантиком, с кошачьим выражением лица из Дома архитектора.— Дааа...

— Раньше как оно, раньше... Дом на века строили, а теперь ночь переспал — и ладно,— встревает в разговор Маня и высказывает мысль о том, что каждый дом имел неповторимую внешность и являлся во сне сыну, когда тот служил срочную в далеких краях, охраняя рубежи, и дочке, когда она выходила замуж, начинала строить свою семью, свой очаг, вспоминая с нежностью, как было у папы с мамой. Нам становится грустно. Маня разливает по тарелкам принесенный из столовой грибной суп. На второе мы едим котлеты с жареным картофелем. На третье нам полагается компот сладкий до приторности и такой липкий, что случайно пролитая капля, застыв, кажется пластмассовой. Архитектор не выдерживает:

— Дитя мое, у меня диабет,— говорит он Мане.— Развести надо.

Но Маня почему-то не понимает, что значит развести, и начинает хохотать.

— Ну, Михаил Николаевич, вы даете,— радуется она, вздрагивая грудью,— с вами не соскучишься... Вы опасный мужчина.

— Это как понимать? — недоумевает архитектор.

— А так,— вильнув корпусом, говорит наша хозяйка и исчезает в кухне, откуда через некоторое время доносится звук льющейся воды: это Маня начинает мыть посуду.

Через некоторое время она предлагает нам выпить чаю, мы отказываемся, и она читает наизусть, как ей кажется, с выражением:

Люблю я крепкий чай!

Как до него я падох.

Ведь чай на поцелуй похож:

И крепок, и горяч, и сладок!

Маэстро разводит руками: у него нет слов. Но Маня еще не закончила программу.

— Чай не пил, какая сила? — спрашивает она, и сама же удивляется: — Чай попил, совсем ослаб!

Отобедав, председатель с архитектором в четыре руки снимают со стола казенную скатерть, клейменную на изнанке черным прямоугольником инвентарного штампа, расстилают свои чертежи и погружаются в строительные заботы. «Кирпич глиняный, обыкновенный, сорок тысяч,— долетает до меня.— Цемент... пошло... еще пилораму поставим... сантехника... А где ее взять, сантехнику, нет ее, и не положено нам! Ни кранов, ни унитазов. Что делать будем? Что, что? Вертеться...» А я хожу неприкаянный вокруг по крашеным чистым половицам. В окне — весенний день, яркое, голубое небо, поле, залитое водой, и в конце его, почти у леса, — голубой трактор с подвесными какими-то орудиями.

В приоткрытой форточке плавают, перемешиваясь, теплые и холодные воздушные струи, чуть колышется легкая занавеска, белая с голубыми цветочками из той же бесхитростной материи, что и скатерть, и где-то за стеклом зудит отогревшаяся на солнце муха. Звук этот настолько уже забыт за зиму, что сначала ищешь в небе пролетающий самолет, его белый след, потом решаешь, что это доносится издали шум мотора того трактора.

Кончается обеденный перерыв. В сенях снова постукивает молоток и снова слышны неторопливые, скрипучие шаги. Там перетягивают старый диван, который принесли из правления. В колхозе есть свой мебельный мастер, его зовут Кирилл Васильевич, Кира-Вася или просто Кира Нос, это долговязый, костлявый человек с большим усталым носом, который живет на его лице своей самостоятельной жизнью. Кирилл Васильевич прибавляет маленькими гвоздиками с широкими черными шляпками новую обивку, за которой он ездил в область, — два дня вычеркнуты из жизни! — прибавляет не спеша, а нос шевелит ноздрями, вздрагивает и угрюмо собирает складки на переносице, затем издает шмыгающий звук и замирает.

— Приятный день, — произносит Кирилл Васильевич, а нос его при этом, вздрагивая, роняет светлую каплю, и все его (носа) выражение такое, будто он хочет сказать: а шел бы, друг, ты куда мимо, чего пристаешь, тебя только не хватало... Работаем.

Когда-то давно Кирилл Васильевич служил в войсках в Москве и дружил с одной москвичкой. «Я, знаешь, в юности каким парнем был», — говорит он с короткой усмешкой. Девушку звали Валей, отец был профессор, мать — доцент, все приставали, учись, Кира, учись, а он, как демобилизовался, поселился у них, Валя души в нем не чаяла, одна дочка, а он целыми днями лежал на койке, курил шикарные сигары, а потом понял, что любит она его неискренне, собрал свои вещи и уехал в деревню.

— Кто где родился, тот там и пригодился...

— И верно. Чего в городе хорошего, — вздыхает Маня. — Работа да очередь, у нас-то по крайней мере хоть природа.

Работает Кирилл Васильевич не так чтоб замечательно, но вполне подходяще, затем садится перекурить на крыльцо, и мы беседуем насчет говядины. Тотнее, насчет бычков, которых берут некоторые колхозники на откорм. Берут весной, осенью сдают и хорошие деньги получают, до двух тысяч некоторые. Конечно, можно хоть пять бычков взять, никто не ограничивает, но тогда нужно большой сарай построить, тачку, мало — две, а то и транспортер приспособить, средства вложить, но гарантий нет. Он как раз первым и произносит это слово **гарантии**, и нос его многозначительно замирает, чтоб издать легкий звук, напоминающий скрип не то весла, не то двери, но точно чего-то несомненно деревянного.

— Я постараюсь, оборудуюсь все как сказано, а гарантии? Приедут рабочие с энэмзэ (НМЗ — Новый механический завод. В области есть еще Старый механический завод и много других заводов, но Кирилл Васильевич почему-то упорно вспоминает только НМЗ, может, основания у него для этого есть, я не выяснял), приедут и раскулачат меня по первое число. Вот так, такой вот амулет печали, как говорила индийская кинокартина...

Затем мы еще успеваем, покуривая, не спеша, выяснить-таки, что с коровой тоже сразу же возникают трудности. Не так все однозначно. Мало ли что начальство говорит, оно все что хочешь скажет, а молодая семья не очень торопится обзавестись скотиной: для детей молоко лучше брать на ферме, выписать и взять (дешевле) или у пожилых соседей, надо-то всего литр-полтора. Своя корова — полно хлопот: ее каждый день дои, да корми, да мой, да хорошая корова к хозяйке привыкает и никого чужого к себе не подпустит, о чем речь! ясно как день, а значит, молодая жена отлучиться из дома ни в кино, ни в районный центр, ни в гости, ни на танцы, ни на концерт лишний раз не может. Она десятилетку кончала, она книги читает.

— Она работать не хочет, — говорит Кирилл Васильевич, — Она на курсы кройки и шитья, а тут у ней корова, корма, дойка, мойка...

Не выпуская папироски, он утирает нос, как-то у него это очень ловко получается и настаивает, что для сельского жителя вся эта учеба ни к чему. Только вред.

— Я восьмилетку кончила и не жалею, — говорит Маня, пришедшая к нам с семечками в кулаке. Она тоже сидит на крыльце, на шестой ступеньке, на ней белая заячья безрукавка, на ногах — тапочки. — У нас учительница по химии была. Камила Степановна, никого не помню, ее помню. Большие знания дала.

— Корова — это, конечно, на любителя, — заключает Кирилл Васильевич и берется за прерванное дело, а Маня рассказывает, как у ее мамы была корова Рыжуха и сколько с ней было возни. Кирилл Васильевич время от времени поддакивает: «Ну так...», и нос его при этом, сладострастно трепеща ноздрями, жадно втягивает режущий весенний воздух.

Закончив свои дела, председатель с архитектором идут смотреть, как обживаются новые дома, и по пути разговор у них о том, что в сельском доме надо предусмотреть большие сени, чтоб было где снять рабочую одежду, развесить, высушить; нужно помещение, как хочешь его назови, сараем или мастерской, где можно постолярничать, что-то починить, сколотить, выстругать; нужна одна большая комната, конечно, с камином, не просто с печкой. Наш зодчий убедил председателя, что камин сплачивает семью, что это не просто так, когда все вместе сидят вечерами в своем доме и, перебрасываясь словами, отдыхают у живого огня.

— Это с доисторических времен, когда вашего телевизора (вашего!) и в задумке не было, сидели в своей пещере, у огня, — говорит он, и председатель виновато кивает: он себе не представляет наших далеких предков, это по его лицу видно.

— Газовая плита создает комфорт, но семьи не сплачивает.

Так мы переговариваемся, шагая по новой улице, вдоль выстроившихся в линию новых домов, еще до конца не достроенных, но уже заселенных. В одинаковых окнах одинаковые занавески, цветы в расписных глиняных горшках. Умиротворение, тишина, звук падающих капель. На солнце, на подоконнике, закрыв глаза, греется кошка, подобрав под себя хвост, и девочка в доме поет тоненьким голосом: «Все могут короли, все могут короли...»

Михаил Николаевич между тем доказывает, что архитектура — это не дом, не улица, не площадь, город или село, архитектура, бери широко, — это то, что окружает нас и должно служить нам, быть с нами соразмерным и не давить своей тяжестью, величиной или безвкусьем. Нельзя выстроить новую деревню из домов только, как из кубиков! Нужна еще и другая сфера: нужны дороги, клубы, ясли, пекарни, вон очередь с обеда выстраивается у ларька и за чем? за хлебом, оказывается! Приехал фанерный фургон. Надо свой колбасный цех организовывать и построить, чтоб колхозники в Москву не катились за этим продуктом, не тащили на себе мешки с «Отдельной» да с «Любительской», а то ведь что получается, Москва первое место в мире по потреблению колбасы на душу населения держит.

— Нас не учли!

— Вот оно откуда! Точно, точно...

— Вы в Москву вагонами, назад — мешками...

Надо построить культурный центр, чтоб будь здоров! с игровыми автоматами «Морской бой», со стадионом, пусть небольшим, но удобным, клуб привести в порядок, мечтает архитектор, еще не подозревая, какие будут у него неприятности, как их вздуют с председателем. Мимо, тяжело сотрясая весеннюю черную мокрую землю, проезжает мощный «Кировец».

— Гатилин на обед поехал! Личная у него машина, — сокрушенно определяет председатель. — Я его выгоню, ну это ж ни в какие ворота... Вот собачий сын!

Гатилинский дом крайний, и прежде чем попасть в него, мы заходим к соседям, знакомимся, смотрим, как обживаются новоселы. Все уже обзавелись «склизкой» мебелью, у всех ковры одинаково на полу и на стене, чтоб сразу видно, и еще обязательно, помимо телевизора о четырех шатких ногах, стоящего в глубине у окна, прикрытого **портьерой**, — **цветомузыка**. Умелец какой-то объявился в поселке Красном, это в двадцати километрах, подключает такую конструкцию (сам ее делает), что, когда работает магнитофон, под потолком по очереди нервно вспыхивают выкрашенные в три цвета — желтый, клоквенный

и пронзительно-зеленый — голые стоваттные лампочки, ввинченные в черные патроны. Новое увлечение.

Включают музыку. При дневном свете лампы вспыхивают не так ярко. Председатель подхватывает упирающуюся хозяйку.

— Москва — Калуга — Лос-Анджелос объединились в один колхоз...

— Все под корень новое, — грустно говорит архитектор, — ни одной старой вещи, никаких ни традиций, ни памяти...

— Как музыка?

— А ваше мнение?

— Говорят, красиво. — Председатель на всякий случай пожимает плечами, дескать, что с ними поделаешь, рашен пипл... Архитектор хмыкает. Неторопливо подходим к самому крайнему дому, перед которым стоит обогнавший нас желтый «Кировец» с работающим двигателем. Он на малых оборотах работает, и стекла в кабине, чуть подрагивая, мелко бликуют на солнце.

— От паразит! — говорит председатель и пихает ногой тугой высокий баллон, над которым поднимается пар. — Он у меня персоналку получит...

В доме все, как у всех, — те же вещи: стенка местного производства, на полках стеклянные рюмки, приемник «Спидола» с отломанной антенной, электрический самовар и два куса импортного мыла, выставленные для красоты. Справа — спальня, неприбранная кровать, тюлевая занавеска на медной проволочке, картинка, изображающая лукошко, из которого выглядывают три котенка, слева — кухня, где сидит хозяин, широко расставив ноги, сидит на белой табуретке и из консервной банки ест морскую рыбу — камбалу в томатном остропахнущем соусе, перед ним на столе — засаленная кастрюля, погнутые какие-то вилки, надкусанные куски хлеба, приглашенный окуроч в стеклянной банке из-под болгарского конфитюра. Стол застелен клеенкой, на которой изображены экзотические фрукты, подсвечники, старинные часы. Такие клеенки продают шумные цыганки с грудными детьми на руках. «Клееночки, клееночки!» Дрогнула деревня!

— Привет, Гатила, — говорит председатель. — Добрый тебе день. Как живется? Пришли вот посмотреть...

Хозяин кивает, продолжая жевать крупными зубами, и пища ворочается у него во рту, как замес в бетономешалке.

— Ну как, нравится? — любопытствует председатель. — Наличники повесили, изящный узор получился. У нас наличники одного рисунка повторяются через три дома на четвертый...

— Если у вас есть свои соображения, — почему-то заискивая, говорит архитектор, — можете сделать по-своему.

Хозяин пожимает плечами, ему все равно. Он подходит к холодильнику, открывает дверцу, достает банку с молоком и прикладывает.

— Ты чего трактор гоняешь? — миролюбиво спрашивает председатель. — В скафандре, да? Ты даешь... — Председатель приближается вплотную, но никакого ответа не получает, хозяин, что называется, не видит нашего председателя в упор. Закончив обед, он утирает с лица молочные усы, и мы все выходим во двор. Снег сошел, но двор не убран, кругом битые кирпичи, ржавые огрызки труб, осколки стекла, куски шифера валяются, проволока.

— Ты б хоть прибрался, — говорит председатель. — Скоро посадки начнем, яблони можно посадить, кустарники... Сарай вон тебе построили, бычка с Алкой возьмите, растить будете, детям для воспитания полезно, думаешь, в садик сдал — и ажур? Не скажи...

Гатила нахлобучивает шапку, у него шапка такая вязаная с гребешком и надписью «Super sport», он ее прилаживает двумя руками и, кивнув нам, лезет ногой на высокую подножку трактора. Через мгновение он уже в кабине, жмет по газам, нас обволакивает сизым дизельным облаком, придающим дню фиолетовый оттенок. «Кировец», вздрогнув, мощно трогается с места. Нам видно, как Гатила ерзает, удобней устроиваясь на сиденье, потом закуривает папироску, чиркает спичкой, зажав коробок в ладони.

— Ну, шалопай, — говорит председатель сокрушенно. — Дом ему дали, заработки дали ему хорошие, палец о палец ударить не желает! Ни сада ему не надо, ни скотины, живет как живет — без всякой перспективы!

А что ему сад садить, думаю я, если его дед своими руками свои же деревья вырубал? И скотина ему зачем, если его отца за личное хозяйство так тягали, что куда там! Это ж не бесследно и, вспомнив носатого Кирилла Васильевича, говорю:

— Гарантии дай.

— Гарантии, гарантии! — взрывается председатель, сразу понимая, о чем речь. — Так ведь что будет, ежели вспоминать да вспоминать беспрдельно? Надоело!

И возникает у нас в нашем разговоре новая составляющая — **гарантии**, мы про то говорим, что дом должен быть собственным и по воли начальства чтоб его не могли ни снести, ни передвинуть, а то вдруг решат новую дорогуложить или газопровод, или линию высоковольтной передачи, никто ж не знает, как оно завтра повернется, ведь зудит же все!

— Оно, конечно, для блага трудящихся, — огрызается председатель, — но у меня-то жизнь одна. И у него одна. Он это понимает, что ж дурака делать из мужика...

А наш архитектор шагает рядом, не прислушиваясь к нашему разговору. Легкий ветерок колышет его седые волосы, и они у него нимбиком рассыпаются над широкой лысиной. Он блаженствует. Он при деле. Он свои замыслы хочет осуществить. Хоть в старости. Пусть на закате. Ведь жизнь же прошла! Он еще не знает, что через неделю при-

едет Толик Перегудов — «Знаете, понимаете»... — и как его будут тягать по судебным инстанциям, и там разные следователи и прокуроры будут коряво подсчитывать в столбик, что и сколько он получил, и выяснять, почему, на основе каких параграфов, потому что есть указание бороться с нетрудовыми доходами. Но это будет летом, а сейчас весна, скоро зацветут луга и деревня к вечеру, когда все стихает, похожа на большой пароход, из тех его пароходов, которые возникают во сне; волнами плывет туман с реки, вечернее желтое солнце плавится в окнах, как в иллюминаторах; телевизионные антенны жадно ловят далекие сигналы; голоса, приглушенные расстоянием, доносятся, как команды с мостика, кем-то подаваемые; сушится белье, и цветные простыни полощутся на ветру, как флаги расцвечивания, и девочка с далекого берега, подпевая пластинке, поет про какого-то короля (Луи второго), который хоть и был королем, но который так и не мог жениться по любви, — и все это в силу какой-то аберрации возвращает его в молодость, в непроходящее счастье и уверенность, что все сбудется и свершится и пребудет в восторге, потому что иначе зачем жить на этом свете.

ЦВЕТЫ, ЦВЕТЫ...

Говорят, мещанство, мещанство, еще говорят, бездуховность... В магазине воблы нет — вот будто бы и все ихние интересы. Не знаю, не уверен.

Тут два молодых человека накостыляли по шее гражданину средних лет, случай сам по себе копеечный, но предположим, что в силу каких-то обстоятельств нам это интересно. Поначалу я ничего не собирался выяснять в этой ситуации, вроде несолидно. А потом вдруг оказалось, что они не просто так накостыляли, у них повод был, и мы встретились.

Первый оказался парнем нервным, замкнутым, на атлета не похожим. Был он прыщавый, с острым мальчишеским подбородком, с тонкой шеей, с грудью, как у воробья колено. Сидел, ерзал на краешке стула, бубнил: «Он сам... Он первый на Серегу полез». Этот у меня любопытства не вызвал. А вот приятель его выглядел совсем иначе.

Тот с ходу начал про кибернетику, явно полагая, что человек, осужденный за грабеж, не имеет никакого морального права рассуждать о материях менее высоких.

Дежурный офицер, скрипя ремнями, вышел и оставил нас вдвоем в комнате, где был стол накрытый красной материей, еще — в углу негосгораемый шкаф, крашеный под дуб, и на окне, выходившем в узкий каменный двор, — железная решетка.

Он говорил о сложных связях, существующих между живым человеком, машиной и математическим символом. Вот так, и его юный голос под каменными сводами звучал возбужденно, а мысль при это то

взлетала накатом, как пустая бочка на волну, то выскакивала, шлепаясь на холодный цементный затоптанный пол, как рыба с крючка.

— Любое состояние может быть полностью охарактеризовано значениями некоторого множества параметров, — говорил он.

Любопытно, думал я, такой милый молодой человек...

Это случилось в начале лета. По узкой степной дороге шли двое — Сережа Савчук (Сергея) и Илюша Потапов, общественностью по месту работы характеризуемый как хороший человек, молодой специалист, повышающий свой профессиональный уровень (он только что институт закончил) и принимающий активное участие в жизни коллектива. Он был членом вокально-инструментального ансамбля «Горизонт», играл на бас-гитаре и обладал чувством юмора, что отмечалось в той же бумаге. «Требователен к себе. Постоянно повышает свой идейно-культурный уровень. Пользуется уважением», так о нем написано и удостоверено печатью.

И вот они шли по дороге, сияло яркое летнее солнце, птички пели свою песню, свежий ветер пах молодой травкой и горелым антрацитом, потому что дело происходит в Донбассе.

Дорога, петляя среди неровностей местности, полого спускалась в балку, поросшую молодым лесом, за спиной курились на ветру верхушки терриконов, впереди белел аккуратный поселок, куда и держали путь два наших приятеля, оба принаряженные — в вытуженных брюках, в начищенных башмаках оба, все чин чином, и оба пахли одинаковым одеколоном, который оказался под рукой, и мыльным кремом, потому что только что побрились.

По пути они говорили о разных веселых и разных вещах, о том, как пили пиво в Енакиево, в ресторане «Горняк», и там один мужик лез драться с официантом, а тот бегал вокруг стола и повизгивал по-бабьи, еще говорили о мотоцикле, который купил Ленька Полторах, тоже молодой специалист, наипервейший в поселке хват и ухажер. И вдруг Серега, натура аналитическая, вспоминает, что идут они на свадьбу (все-таки), на такое, можно сказать, неординарное мероприятие, а подарка у них нет как нет. Без подарка они идут!

— Нехорошо получается, Илья Семенович, — говорит он. — Не совсем культурно. — Обратите внимание, как выражает он свою мысль. — У меня трешник, а этого, увы, явно мало. Я тоскую.

— Я тоскую по родине... — подхватывает музыкальный Потапов и начинает лихорадочно рыться в карманах своих глаженных брюк, как будто там можно найти что-то, кроме носового платка, но тут же и прекращает, вспомнив, что зарплата только в понедельник, а сейчас суббота, два часа дня.

По шоссе слева от них, пыля, проезжает автобус, справа по-над балкой тянется к шахте состав с порожняком, колеса гулко стучат по рельсам.

— Я не пойду,— вдруг говорит Сережа.— Мне неудобно.

Так и сказал — неудобно. Ну, а как он должен был сказать, ведь он честный, культурный человек. Да он, что вы... Он понимает, что на свадьбу, когда у людей такой торжественный момент на всю жизнь, без подарка нельзя. Некрасиво это. Даже беспринципно, если хотите... Это же получается, пришли покушать, выпить на халяву. Молодым надо что-то преподнести.

— Может, цветов купим? — несмело предлагает Потапов.— Букет.

— На трешку-то? Веник.

— Не густо.

Замолчали. И тут перед друзьями, молча решающими сложную нравственную проблему, идти или не идти, возникает одинокий путник, в дальнейшем именуемый гражданином Тумановым Владимиром Осиповичем.

Траектория его движения сложна, шевиотовый черный костюм выглядит излишне помпезным, в одной руке Туманов держит прозрачную крышку от радиолы «Мелодия», а в другой, в потной жмене, — жареные семечки, но семечек не грызет и не выбрасывает, потому что не вполне может координировать свои действия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, все у него в фокусе, все неустойчиво.

— Слушай, дядька, — останавливает его Сережа, идея ему приходит в голову, — одолжи-ка ты нам червончик, а?

Гражданин Туманов при этих словах спотыкается и встает во фронт, с трудом соображая, чего же от него хотят два таких чистых, таких симпатичных, так хорошо пахнущих молодых человека. А чтоб он сообразил энергичней, не тянул резину, Потапов поторопил:

— Давай гроши, а то мы тебя поколотим!

— Отчего ко мне такой аргумент? — икая, удивляется Туманов и трясет крышкой от радиолы. — Меня нельзя бить, я выпивши...

Он хочет еще что-то сказать. Может, даже, поговорить о разных вещах, он в себе такое желание обнаруживает и улыбается, и покачивается на нетвердых ногах.

И, наверно, друзья посторонились, давая ему дорогу, решив, пусть он идет себе, одинокий путник, гражданин Туманов, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Как бы не так! Не та сказочка.

Теперь они заявляют устно и письменно, что деньги хотели взять займы и наверняка вернули бы долг в понедельник или в крайнем случае во вторник, с какой стати им врать, вернули бы, хотя не знали этого Туманова и видели его первый раз в жизни.

Но он почему-то давать займы не хотел! Будто они его не на цветы, а на водку просили! Он вообще выглядел несимпатично, с первого взгляда понятно — куркуль, жмот копеечный, и антипатия к нему возникла сама собой, и это объективно: ведь может же быть такое? может, наука психология учитывает мгновенные оценки.

Сережа кладет руку на плечо Владимира Осиповича, вполне дружески кладет, и шутя, а этот Туманов ведет себя некорректно, скидывает его руку, сделав ему больно, и кричит ни с того ни с сего как резаный: «Люди!..» Хотя они его обижать не собирались и поколотить пригрозили просто так. Смешно показалось. Посмеяться хотели. Молодость. Ветер в голове. Песни и пляски из венских оперетт...

Между тем гражданин Туманов, натужась, кричит: «Люди!..», и глаза его вылезают из орбит, и тогда большой шутник Потапов, наш гитарист, с мягким юмором берет его за горло.

— Тиха! — говорит он. — Ша, папаша, кругом шпионы!

Так? Так, устало соглашается Сережа и тут же возражает:

— Формально так, но по сути иначе...

Трудно с ним говорить. Из материалов судебного следствия известно, что, избив Туманова, они вытащили у него 18 рублей Три купюры. Красную бумажку (десять рублей), синюю бумажку (пять рублей), зеленую бумажку (три рубля). Еще там была мелочь, но она просыпалась. Хотите, Сережа разовьет тему о зависимости человека и его гордого духа от бумаги? Он и о мировой банковской системе вам расскажет, и о законах кредита. Он все знает. Даже удивительно.

За семь рублей 70 копеек они с Потаповым купят подстаканник жениху, а невесте за два рубля 36 копеек — брошку с портретом поэта Сергея Есенина. Еще они купили цветы. Да, конечно, цветы. На свадьбу нельзя без цветов, но их цветы не были приобщены к делу вещественным доказательством. Завяли.

— Розы?

— Вы скажете... Откуда? По-моему, гвоздики. Красные такие.

На свадьбу они пришли с опозданием, но зато с букетом. И подарок был такой с юмором, все поняли, что внимание оказано, ну а больших денег просто не было и все. И полный порядок.

Они хорошо гуляли. Столы поставили в садочке под сливами. Луна, музыка, танцы до утра, шампанцы, колбаса с перчиком, я вам скажу, жареная пошваркивает. И не знали наши друзья, что в ту лунную ночь гражданин Туманов без сознания был доставлен в больницу. Дежурная сестра позвонила главному врачу, подняла его с постели, и, выслушав ее, он сказал: «Готовьте операционную, Нина Васильевна, я сейчас буду. Но, ох, как не хочется! Только, понимаете ли, заснул!» Это ж надо, чтобы за восемнадцать рублей так человека отчихвостить! Ведь он опохмелиться попросил уже после наркоза, по инерции, и будто бы, глянув на себя в зеркало, сказал палатной сестре: «Как не я...»

Мы сидим друг против друга. В зарешеченном окне — узкий тюремный двор. Камень и асфальт, и колючая проволока. Вдоль дорожки на фанерных щитах плакаты за мир во всем мире.

Сережа молод, красив, у него хорошего рисунка лоб, светлые глаза. Он улыбается совершенно обворожительно, и любить его хочется и улыбаться ему.

— Мы бы вернули деньги... Но он первый полез...

Я не верю. Сережа пытается настаивать, а когда понимает, что это бесполезно, мысль его поворачивает на другой круг.

Туманов был очень на газах, пил в запойном варианте, да и не держал они его, да он бы, лапонька, прямехонько подлез под тепловоз со своими семечками. Там состав под эстакаду подавали, так что неизвестно, как бы сложилась ситуация, мужик благодарить должен, а он — в суд! Ну народ... Они на цветы взяли.

Сережа закуривает и, затаившись, говорит о том, что есть-таки судьба, есть рок, начертанный свыше, древние, они не случайно верили, что биографии пишутся на звездном небе. Он говорит о средневековых астрологах, о восточных звездочетах, о нравственном прочтении второго закона термодинамики.

— Иногда злые импульсы объективно способствуют добрым делам, — заключает он и ждет комплимента.

Но я не верю ему. Он видит. И на всякий случай улыбается, и улыбка его добрая, светлая, а мысль, как большая черная птица, расправив злые крылья, идет на второй круг.

Ну, хорошо! Они виноваты. Все-таки надо уметь держать себя в руках. Они ударили того ханыгу. Жуткий тип, вам бы на него взглянуть! Да, потом они еще его побили ногами, попинали, лежащего на земле, чтоб не выл мразным голосом и слюни подобрал. Свидетели видели — машинист и кондуктор грузового состава. Но может ли быть вера этим свидетелям, если они видели, но не подошли, не вмешались, не крикнули даже издали? Сережа презирает таких свидетелей, знаете, самая прекрасная позиция: видели, но не вмешались.

Сложно обыденное уголовное преступление возвести в степень чего-нибудь значащего литературного факта, но куда важнее разобраться в самом явлении, ну как же это так, два молодых интеллигента валят с ног выпившего человека за то только, что запах им его не нравится и весь его внешний вид в самом деле малосимпатичный? Это задача для психолога, для философа, для социолога, а мы что? Литератор может только означить координаты происходящего или к одному случаю подобрать другой, аналогичный, потому что явление есть, а формулы, в которую можно втиснуть цифирь и вот вам конечный результат, этого нет, это Сережа мне растолковывает. Он все понимает. Он умный.

Нам по природе своей верить хочется, что человек, говорящий умные слова, по крайней мере понимает их смысл. И чувствует. А тут оказывается, что еще древний оратор Цицерон Марк Тулий, обеспокоенный своими римскими делами накануне крупных неприятностей, писал, что нет ничего более нелепого, чем пустой звон фраз, хоть бы даже самых отборных и пышных, но за которыми нет ни знаний, ни собственных мыслей. Давно это было.

А как он возник, Цицерон, с какой стати? Опять Сережа вспомнил! Золотая голова, на каждый случай у него свой довод и свое выражение

лица то вежливо-озабоченное, то слегка растерянное, потому что он хочет донести цитату максимально близко к автору. А там иди проверь, я как-то Марка Тулия Цицерона не каждый день читаю.

Он сидит передо мной и смотрит ласково, Сережа Савчук, двадцати пяти лет, уроженец города Донецка, образование — высшее, интеллигент, но не по сути, не по душевному настрою, а — по корочкам, по диплому, в котором удостоверяется, что он продукт, рассчитанный на прочность, на сжатие, на сдвиг, я знаю, на все что угодно рассчитанный, кроме одного. На порядочность он не выдерживает первого же испытания. Он не знает про это ничего, какая от порядочности польза? Или как это — много ли в корыте корысти? Сказочки, сказочки все, жизнь так может повернуться, что вся ваша порядочность — вас само это слово не коробит своей старомодной неуклюжестью? — рассыплется. Было и нет. Это живое, меняющееся понятие, оно не может быть однозначным, застывшим, независимым от времени. Порядочность? Да нам это без разницы, как принято теперь говорить в порядочных домах. И гуд бай, а короче — чао! И сам себе он видится мудрым, сообразительным парнем, который за словом не полезет, и речь его полна отзвуков солидной будто бы учености при легкой снисходительности к себе. Социальный аспект, культурный символизм, коррелят вины... — от ведь как он заворачивает, пойдя на него с голыми руками, он во всеоружии.

Наверное, страсть к шикарным словам, как страсть к вещам, как страсть ко всему шикарному, явление не простое и не сложное, оно существует от беспросветной скудости, то ли финансовой, то ли душевной, то ли еще какой. Это все от непроходящей нищеты, от того, что наготу свою нечем закрыть, а хочется. И перо — в задницу. Надо! Чтoб все видели. Чтoб не хуже других.

— Вы так считаете?

— Я так считаю.

Он усмехается.

— Это деперсонализация личности...

Чтo это такое, я не знаю, а переспрашивать не хочется и даже как-то неудобно, неловко за себя: такой большой и не знаю.

Мещанин. Мещанин, вот сидит он лохматый, нечесаный в подшитых валенках на крылечке и смотрит злым взглядом в окна соседа, и принюхивается, что там сварили, и прислушивается. А если он у синхрофазотрона сидит, что тогда? Если он не семь гипсовых слоников мал-мала на видном месте выставляет, а книги? Книги ныне в цене. И стоят они в красном углу, как ножной «Зингер», прикрытый вышитой салфеткой: кто придет — сразу видно, в достатке человек, и много слов не надо.

Рука у него хорошая. На запястье детская, четко очерченная родинка, и на шее на цепочке амулет. Белое сердечко. Если обстоятельства сложатся соответственно, он вас этой самой рукой. И ничего в нем не дрогнет, надо — так надо, а надо или нет, это он сам определит, чего ан-

тимонии-то разводить, потом он себя оправдывает, сколько для этого разных ученых понятий! Сколько драм написано и создано исторических precedентов! Кто там бабушку топором убивал?

Ладно, он может быть задушевым другом. Я его в застолье представляю. Он хаживал в гости. Покупал цветы. Он политес понимает. Вы никогда не почувствуете, глядя на него, что большая черная птица мешанской оголтелой беспощадности кружит над вашим столом. Нет, я не хотел писать о нем и не собирался. И не написал бы. Но был другой случай. Почти аналогичный. Тоже вроде бы с мордобоем, и учеными словами после, и удивлением, потому что мы как-то напрямую ученость и нравственность стыкуем. Не может, по-нашему, ученый человек подлости совершать. Ему дали специальность, а мы думаем — образование. **Образ!**

Так вот в большом уральском городе — я тогда в газете работал — мне пришлось выяснять обстоятельства одного преступления. (Город назвать не разрешили, ему орден за успехи в пятилетке только что вручили. Это был Свердловск. Какая разница, мог быть Челябинск, так ли тут необходим точный адрес?) Там, в малогабаритной квартире на седьмом этаже крупнопанельного гулкого дома, — я помню, пешком поднимался по кривой, грязной лестнице с ободранными, качающимися перилами; лифт не работал — убивали человека, но, слава богу, не убили до смерти. И свидетельницей по делу проходила молодая, нежная женщина, вузовский преподаватель английского языка. Она оказалась в соседней комнате — я и комнату эту осмотрел, в меру убогую — и слышала крики и мольбу о помощи, и, самое страшное в этой истории, она знала, что тот, кто душит и бьет обрезком водопроводной трубы, станет через две недели ее мужем: в загсе истекал испытательный срок, данный им, чтоб они ближе узнали друг друга. Две недели оставалось.

И она по бетонной лестнице с кривыми ступеньками побежала вниз, в милицию? В ночь. В метель. Почему в ночь, это днем было. Она в слезах отвергла любимого, я эту сцену представил, ее юное, чистое лицо, искаженное гневом. Она слегла в больницу с нервным расстройством. Как бы не так!

Ничего подобного, через две недели в белом платье, с цветами, на такси, обонированном на целый день и украшенном шелковыми лентами и розовым пупсом, которого посадили на бампер, ее детской игрушкой — выросла девочка, — ехала регистрироваться (правосудие явно запоздало), а еще через полгода предстала перед судом.

Я разговаривал с ее отцом, с добродушным усталым человеком в коричневых домашних брюках на резинке. Он был толстый и медлительный. Он сидел в кресле.

За окном, за тюлевой занавеской, неслышно падал и падал снег, на подоконнике в баночке из-под детского питания прорастала зелеными стрелами круглая луковича.

Я хотел, нет, не оправдать эту женщину, мне надо было разобраться и понять тайну. Допустим, объяснить все страстями, которые, как говорили в старину, выше нас. Я эти уральские, свердловские страсти хотел представить. Я спросил ее отца:

— Она любила его?

Он ответил не сразу. Молча потер переносицу, сложил руки на груди.

— Что значит «любила»? — И вздохнул. — Любила, наверное. Им, как молодоженам, от предприятия, где он работал, ордер обещали на мебель.

Именно так он и сказал.

Мы рассуждаем о мещанстве. Мещанин, мещанин. Мы хотим разобраться в явлении, а раз так, то давайте прежде всего определим все же, сколько стоит человек и человеческая жизнь.

Восемнадцать рублей ей красная цена с копейками, или парни явно продешевили, поскольку в спешке, в суете все происходило. И хлупает по волне, взлетает на гребень пустая, смоленая бочка, и не будет ни дивного острова, ни города с теремами и домами, не будет белки с изумрудными орешками, пока мы не поймем, что в той бочке не Гвидон, а Сережа Савчук, убогий продукт нашего времени.

Ничего не будет.

ПРО ЗЛЫХ РАЗБОЙНИКОВ, ДОБРУЮ БУФЕТЧИЦУ И ШЕСТЬСОТ ПИРОЖКОВ С ПОВИДЛОМ

Однажды весной в большом портовом городе Архангельске произошло во всех отношениях странное событие, назвать которое одним словом или как-то кратко озаглавить, как-то наименовать не представляется возможным. Был суд, судили малолеток, двух подростков, хулигански ограбивших буфет коммунально-строительного техникума. Прокурор говорил: «В то время, когда вся советская молодежь...», и малолетки плакали, размазывая чистосердечные нюни. А суд был показательный, кажется, так, и я не знаю, почему он длился несколько дней, подсудимые полностью признавали себя виновными, и судьи, понимая, что для подростка с его не оформившейся еще детски ранимой психикой, с его повышенной эмоциональностью суд не лучшее времяпрепровождение, решают отпустить малолеток по домам, взяв предварительно расписку, что завтра ровно в десять они должны снова быть в суде, поскольку разбирательство не закончено.

И вот, отпущенные под расписку Толя Дьячков и Сережа Потюков сразу после суда идут в город, смотрят киножурнал «Хочу все знать», гуляют по набережной, а как стемнело — взламывают дверь продуктового магазина, ломают кассовые аппараты, бьют окна, берут остаток денег,

там по мелочи чего-то, совсем немного, к этому несколько килограммов конфет «Маска» и выпивают на двоих бутылку нарзана. Потом милицкий следователь приобщит эту бутылку к своим материалам, и архангельские детективы будут со всей серьезностью рассматривать эту бутылку, испачканную шоколадными губами, и нюхать ее, и заглядывать в нее, прищурив глаз.

Деньги они спрячут в надежном месте, конфеты доедят, а утром ровно в десять явятся в суд.

Снова адвокаты будут защищать, прокурор обвинять, преступники будут плакать. И все бы ничего, но в тот день после судебного заседания ограблен ларек «Сувениры», из которого увели семнадцать плиток шоколада, десять колод игральных карт, три пары солнечных очков.

Я представляю их в темных очках, как сидят они плечом к плечу, маленькие мужички с усталыми, равнодушными лицами.

Их отдали на поруки по месту учебы. Учились же они в ПТУ, и комсомольцы училища решили их воспитывать, так обещал на суде секретарь их комсомольского бюро, такой же мальчишка, только с аккуратно причесанной головой и замашками настоящего, взрослого функционера, ответработника — и пойдя пойми, как это получается в таком-то нежном возрасте! Затем выступала педагог по русскому и литературе — в ногах у нее стояла битком набитая сумка, из которой торчал рыбий пожухлый хвост, — и тоже обещала усилить воспитание.

А затем снова был суд, наверное, их взяли под стражу в том же самом зале с окнами на тихую деревянную архангельскую улицу.

Мы встретились в следственном изоляторе, в старинном здании, некогда **центrale**, со стертymi каменными ступенями, с неистребимым с прошлого века запахом дезинфекции и тюремной баланды.

Они оказались веселыми, подвижными, разговорчивыми ребятами, первым делом они мне сообщили, что в их тюрьме сидел Ворошилов и все великие люди начинают с тюрьмы. Едва познакомившись с ними, я понял, что попадаю в затруднительное положение: у меня было задание написать о них и со всей серьезностью **проанализировать**.

Внешне оба были мне вполне симпатичны — крутолобые, лопоухие, с ясными, любопытными глазами. Не было в них ничего **негодяйского**, а мой шеф, провожая меня в командировку, как раз требовал, чтоб я этой стороны коснулся, он настаивал на том, что безнаказанность развращает, и случай этот я должен подать широкой общественности как издержки демократии. При этом он умно прикрывал глаза и спрашивал: вы меня понимаете? И я отвечал: так точно, товарищ начальник! У нас такие отношения сложились полушутливые. Такой стиль.

Еще он намекал, что надо начать с семьи и, если окажется, что там было непростое — папа пил, мама гуляла, — уже есть выход на тему. Может оказаться, что они ни о чем настоящем не думают, ничем не интересуются, ничего не читают, а учили их плохие учителя, а подстрекали к преступным занятиям темные личности, какой-нибудь великовозраст-

ный пацан из подворотни, такой с гитарой, или дядечка с бутылкой. Он даже имя для него придумал — дядя Кирюша. Кирюшу найдите, говорил он, и там ниточки, ниточки потянутся, только успевай.

Ниточек не было. Я разговаривал с самыми обыкновенными мальчишками. В камере они читали про жизнь морских животных, и офицер-политработник в сводчатом кабинете с мебелью из темного дуба, с письменным тяжелым столом на резных ножках, за которым сидел, наверное, еще начальник централа, внушал мне, что моим малолеткам по утрам дают сливочное масло и сахар, у них чистые простыни с пододеяльниками, хорошая библиотека, они могут читать сколько душе угодно, а воровали они из хулиганских побуждений.

Мы встречались не день и не два, я ходил в этот архангельский следственный изолятор как на работу, а им было интересно, что с ними встречается и беседует взрослый дяденька из Москвы. Это ж надо, из столицы приехал!

Мы говорили о честности — о честности вообще, — и оба они, и Толик и Серега, считали себя людьми честными: они никогда не крали у своих товарищей.

— Это последнее дело. Если бы мы крали у людей — это одно, а мы-то крали у кого? У архангельского торга... Государство от наших дел не пострадало.

Я соглашался, что государство, конечно, не пострадало, но пытался ставить такой вопрос: а что будет, если каждый начнет красть, все у всех, ведь государство — это мы.

— Каждый не начнет, — подумав, успокоил меня Толя, — есть котрые не могут красть.

— Это честные люди, — ухватился я.

— Мы тоже честные, — было сказано мне. — Мы государству своей работой все вернем. А если война, и я, и Толян пойдем воевать.

Ну, что тут ответишь! Ну, не лепится образ злых разбойников! Они были добрые ребята, они дарили девочкам из своего ПТУ конфеты и шоколад «Цирк», на ворованные деньги катали их на такси по вечернему городу и расслачивались, щедро давая чаевые, как моряки, вернувшись из загранки. И девочки, присмиревшие, сидели, забившись в уголок сиденья, и гордились ими, такими щедрыми и взрослыми.

И вот что оказалось: в тот первый буфет мои малолетки проникли без взлома, никакого замка не было. Буфетчица, скинув грязный халат, высочила на собрание — был канун 8 Марта, всех скликали, — а дверь не заперла.

Ребята вошли, в титане кипел чай, они взяли несколько пригоршней конфет, две или три, и, конечно, не выдержали — рассказали обо всем. Буфетчица тоже сообщила куда следует, что вот обворовали, и милиция нагрянула, и собаку привели, и все совпало, не совпали только цифры. Оказалось, из буфета за несколько минут, пока буфетчица отсутствовала на собрании, похитили семь килограммов изюма в шокола-

де — раз, 10 килограммов конфет — два, 700 пачек папирос «Красная звезда», 600 штук пирожков с повидлом — особенно пирожки меня умилили, сразу 600 штук! — еще 11 плиток шоколада «Ванильный», 10 буханок белого хлеба и там еще что-то, но совсем незначительное.

Спрашивается, как могли мальчишки распахнуть все это по карманам, как смогли вынести, тем более, что буфетчица слушать доклад не стала, а отметилась и сразу ушла.

Ее звали Анной Ивановной. Она не знала как. Она не могла ответить и на все мои вопросы ревела белугой.

Вот как возник **архангельский торг** — безликое, бесформенное учреждение, у которого можно воровать! Им почему-то /почему?/ и в голову не пришло, что они столкнулись с нечестной буфетчицей Анной Ивановной, а весь наш в общем-то честный, принципиальный, хороший-пригожий архангельский торг ни при чем. Наверное, нельзя сказать, что Анна Ивановна спровоцировала наших разбойников на дальнейшее, но задуматься можно. 10 килограммов конфет, 700 пачек папирос, 600 штук пирожков с повидлом... все было списано.

Страшнее кошки зверя нет. Для учащегося ПТУ буфетчица — взрослый человек и должность. **Буфетчица**. Его в уважении к старшим воспитывают. Плохо, хорошо ли — другой разговор. Он всех наших рангов не понимает еще, но уже что-то чувствует, что-то болит у него, что-то дает ему оправдание, иначе чем можно объяснить, что мне задается вопрос:

— А с какой должности можно воровать?

Так вот вдруг, вроде бы ни с того, ни с сего — и прямо в лоб. И я начинаю крутиться как уж, я начинаю о честности, о порядочности, о том, что никому ни в коем случае, мало ли кто ворует! А я нет! И это каждый должен знать про себя, а они меня слушали, опустив свои лобастые головы, слушали, как слушают в классе пустую болтовню, сквозь их розовые уши просвечивало солнце.

Закон для всех, говорил я, но они знали, что не для всех, исподлобья взглядывали на меня, решая, дурак дяденька или только притворяется, и талдычили свое:

— А с какой должности...

И я решил написать про злых разбойников, добрую буфетчицу и 600 пирожков с повидлом. И написал.

Меня вызвал шеф. Он сидел за своим широким столом в своем темной костюме, весь вид его не предвещал ничего хорошего.

— Я понимаю, — начал он, закипая изнутри. /Человек-термос кипит в себе./ — Ваши помыслы чисты, как ризы первосвященников, но кому нужны эти ваши широкие построения? На чем вы их базируете? Что значит закон для всех? Не для всех, не для всех, не для всех!.. И я вам этого не говорил! И нечего кукиш в кармане держать, все всё понимают. Ученые.

— Нет, но... — начал я. Он перебил меня:

— Вас учили: берите почту, телеграф, разводите мосты, посылайте броневики к Финляндскому вокзалу, но зачем, я вас спрашиваю, зачем вы с меня начинаете?

И он швырнул мне мою статью не грубо, но вполне театрально, он вообще любил театральные эффекты, был пластичен и величествен при своем малом росте. Подхалимы говорили про него, что он мудрец — ну, вы мудрец! — и ему это нравилось.

— Какие широкие построения, это частный случай! — взмолился я. Мне было жалко моей работы.

— Сам случай — пожалуйста, но этот ваш замах, этот ваш топор, этот ваш вопрос — с какой должности...

— Я уберу, и лады.

— Ничего не убирать, друг мой. Все претензии «Новой Рейнской газете» и ее редакторам. Вас не туда повело.

И он обхватил меня за плечи и повлек к двери. И так мы шли с ним от стола к двери, и я чувствовал его дыхание и запах его одеколона.

— Все-таки давайте попробуем, — сказал я.

— Заткнитесь, — ласково сказал он. — Совсем ничего не понимаете? Затыкаюсь, затыкаюсь, затыкаюсь...

Но все-таки с какой должности можно воровать?

У КОГО БОЛИТ ГОЛОВА?

Один московский инженер, вполне приличный человек, передовой производственник и семьянин, начальник цеха на Ростокинской меховой фабрике № 2, решил стать изобретателем. Ему изобретать захотелось и двигать технический прогресс, поскольку он не предвидел всех возможных последствий этого своего, согласитесь, неосторожного желания. Он был не в курсе. Ему говорили, но что говорить, если у человека свербит. Не внял. А был бы как все... — будь как все, и тебя поймут, не высовывался бы, не выпендривался, не выдрючивался, одним словом, не возникал, — таков закон дороги, а значит, всякого движения, и это самое главное — не возникай! — жил бы себе и жил. Но он молодой, горячий, махал руками, заметку написал в стенную газету, говорил: я всех в меха одену! Я! Я... И в конце концов в какой-то роковой момент его душа выскальзывает из-под контроля, как кусок мыла из мокрых рук. Он конструирует такое приспособление, эдакий шаблон, состоящий из двух профилированных, пружинящих пластин, два конца которых соединены жестко, а два других — как-то иначе, что позволяет начать производство в ином режиме. И возникают перед инженером, начальником цеха удивительные возможности и перспективы. Дело в том, что испокон

века меховые воротники кроили, обшивали тесьмой, увлажняли, правили волосяным покровом вниз, их набивали гвоздями на специальный щит сразу по скольку-то там штук, предварительно мелом означив место для каждого, щит ставили в сушильную камеру, затем, по прошествии установленного времени, согласно технологии выкатывали назад, гвозди отдирали, тесьму спарывали, очищали волос от мела, от пыли, расчесывали щеткой, накладывали контрольное лекало, обрезали лишнее и так далее. Там много операций. Метод этот назывался «гвоздевым», и счет был — на каждый воротник по 100—150 гвоздей. Но вот наш инженер, а зовут его Д. В. Раксин, решает, что поскольку меньших наших братьев мы давно уже не отстреливаем по лесам свинцовой дробью, а тихо, культурно выращиваем в железных клетках, так нам удобней, и снимаем с них шкуру «чулком», то и нужда в гвоздевом методе со всей его многоступенчатостью отпадает. Меховые вещи, воротники в том числе, запросто можно формовать, но этого никто в мире не делал в силу инерции мышления. И вот наш начальник цеха делает умный чертеж, и с этим умным чертежом идет к столярам А. Д. Бурдакову и И. Е. Новикову, и говорит: ребята, будьте добры, не бесплатно, конечно — о чем речь! — за нами не станет, отметим и стимулируем. О, кей! — говорят столяры. А пока наш инженер тихо, скромно оформляет возникшую идею и подает заявку в отдел предварительной экспертизы в институт ВНИИПТЭ.

Далее события развиваются в сногшибательном варианте, потому что оказывается вдруг — и кто бы мог подумать? — что сделано не одно, а сразу два изобретения! Во-первых, новый способ: никто никогда прежде меховые изделия не формовал, прецедентов нет, а во-вторых, изобретено приспособление, шаблон или лекало, которое и было доблестно сработано двумя нашими столярами в перспективе обещанного стимулирования из наличного фонда в полном соответствии с полученным чертежом. Отличная вышла вещь. Идем дальше.

Можно предположить, что инженер находится в эйфорическом состоянии. Ему разные технические горизонты рисуются, почетные грамоты, цветы, женщины, может, ордена и медали, я не знаю, и он приходит, его можно понять, к тонкому выводу. Он понимает — его вся жизнь наша к этому подготовила, школа и комсомол, и фотографии лауреатов в газетах, — для того чтобы широко двинуть свой замысел, надо взять соавторов, желательно людей с определенным общественным весом, ибо дело у тебя никогда не стонется с мертвой точки зрения, пока ты один. Единица — вздор, единица у нас форменный ноль на постном масле, мы сильны, когда плечо к плечу. И потому Раксин, подумав, приглашает к себе в соавторы директора фабрики (от директора многое зависит), главного инженера (главный инженер определяет техническую политику предприятия, станет поперек, и внедрятся у себя на кухне), главного технолога (то же самое) и передового рабочего, чтоб был социальный спектр. Знающие люди говорят, что он очень правильно поступил, ну

просто очень даже прекрасно, молодой, молодой, а сделал все как надо, и ходит наш изобретатель по своей меховой фабрике № 2, как Эдисон или отец и сын Черепановы, и все ему улыбаются.

Между тем постепенно выясняется, что новый способ гораздо удобнее старого, гвоздевого, он технологичней, позволяет улучшить условия труда, обеспечивает высокое качество, его внедряют на московском меховом объединении «Труд», Бельцком меховом комбинате, Харьковской меховой фабрике, чуть позже — на меховой фабрике «Белка» и меховой фабрике «Электра», а потом — на Татарском меховом производственном объединении в Казани и тогда же определяют, что только за первый год экономия от внедрения составила больше одного миллиона рублей, точнее — 1 167 525 рублей и, значит, авторам положено вознаграждение в размере двадцати тысяч. Но пока все тихо, никто ничего, не ссорятся, не шумят, разговоры о банкете в «Праге» сменяются дружескими шуточками и подтруниванием в адрес изобретателя: вот, мол, товарищ Раксин, так дело пойдет, мы (мы!) государство разорим.

За второй год экономический эффект определяется уже суммой более двух миллионов — 2 миллиона 517 тысяч. Соавторы, скромно потирая руки, кто с портфелем, кто с чем, нестройной группой в затылок устремляются к открытой кассе, откуда сквозит запахом иной жизни, получают 20 тысяч на всех, и тут выясняется, что по второму изобретению — ведь изобретений-то два! — тоже положено 20 тысяч, но Раксин в заявку почему-то вписал только себя одного. Это как же так? Вместе работали, так все хорошо получилось, и не вписал... «Он нас всех вокруг пальца обвел», — с мрачным достоинством говорит директор.

Любопытный феномен для науки психологии: человек верит, что сделал то, чего вовсе и не делал. Его вписали, а он верит, что сам. Что все по-честному. Причем верит неколебимо. Или это присуще человеку как виду? Ты воду носил, он кашу варил, я тоже что-то делал, а уже потом ел. Человеку, видимо, надо думать, что он не просто так получил деньги, которые уже успел истратить. У директора прерогативы руководящей должности, он себе в заслугу ставит понимание общей линии, нацеленность коллектива, накал энтузиазма — самые непроверяемые вещи; главный инженер уверен, что определял техническую политику, и раз все так удачно получилось, то правильно определял; главный технолог — то же самое; передовой рабочий вкалывал. Иди проверь; денежное же вознаграждение почему не считать чем-то вроде тринадцатой зарплаты или «лечебных» в конце года? «Я ему покажу, — говорит директор, — только, понимаешь ли, себя создали, сработались... Он у меня попляшет!» Но изобретателя на фабрике уже нет, он откомандирован в Научно-исследовательский институт меховой промышленности (оказывается, в Москве есть и такой, ВНИИМП) и там с января по август, за неполные восемь месяцев, подаст заявки еще на три изобретения. У него задумки были...

И вот удивительные слухи ползут по меховой фабрике № 2 под гулками ее закопченными потолками, по всем ее четырем этажам старинной, еще купеческой кладки, по крутым стоптанным лестницам, пропахшим мездрой и табачным дымом, по цехам — подготовительному, скорняжному, портновскому... — и все про изобретателей, что вот, мол, есть на свете ловчаки, эдакие ловчицы, не секут их, не жнут, плюнул — двадцать тысяч! Плюнул еще раз — и снова. И вот тут-то в действие вступают наши столяры, помните — Бурдаков и Новиков? Они заявляют: «Мы сами все делали! Он только идею дал». Идея что? Трепыханье стрекозиных крыл, философ Кант, идеализм какой-то — и не больше того. Но компетентные инстанции в лице Всесоюзного объединения меховой и овчинно-шубной промышленности разясняют: мы вас понимаем, но в данном контексте идея — это и есть самое главное. Жалоба меняется: «Мы сами все делали! Он нам только выкройку дал». Выкройку — то есть чертеж. Идея больше не упоминается. Теперь дается разъяснение, что по закону лица, оказавшие изобретателю техническую помощь, авторами не считаются. Но на одной стороне логика, а на другой — живые 20 тысяч! Да там еще три изобретения светятся, тоже надо посмотреть. «Пусть нас вписывает в соавторы! — требуют столяры. — Почему он директора вписал, тот вообще ни хрена не делал! Почему им все можно, им и несут и тащат, а нам нельзя?» Вопрос приобретает социальную заостренность. И в самом деле, почему одним можно, другим нельзя? Почему на нашей фабрике закон не для всех? Почему? Потому только, что их меньше, а нас больше? Так ведь, наверное, уж и не так: их больше. Нас меньше. Все руководить хотят! Вынь и положи человеку должность!

Столяры довольно долго шумят на эту тему, однако никто на них не обижается, напротив, директор вступает с ними в контакт, и они под его диктовку пишут: «Мы, люди рабочие, и всех тонкостей не знаем, но директор фабрики нас просветил, сказал, что Раксин получил за изобретение большие деньги...» Ни «идея», ни «выкройка» больше не фигурируют. Деньги! И при этом большие! Официальные соавторы уходят в зыбкую тень, выставив вперед Бурдакова и Новикова, и борьба приобретает затяжной, изматывающий характер, и происходит все это не где-нибудь в притонах Сан-Франциско или в зланных портовых тупиках Гонконга, где ого-го, а у нас в Первомайском районе, по месту жительства изобретателя — первое исковое заявление в нарсуд, будьте любезны! На пережитки капитализма в нашем сознании не сошлешься, ни на родимые пятна, ни даже на бородавки — все не убедительно, что-то тут мы проморгали, какая-то классовая ненависть в нас к тем, кто больше нашего получает или лучше нашего живет. Мы требуем сей секунд отнять и разделить! А то, что, отняв и разделив, все-таки надо работать и головой тоже, об этом как-то забывается. Мы к творчеству, до нельзя затаскав это высокое слово, стали относиться как к учрежденче-

ской нашей самодеятельности: получил удовольствие, мы тебе похлопали, поблагодарили — и отвали со сцены. Будет с тебя.

Бурдаков и Новиков требуют признать их соавторами, в дело включается народный суд, сослуживцы и домочадцы, изобретатель получает письма: «Давайте вписывайте, вам же хуже будет!» — ему звонят какие-то люди и тоже о том же, но наш изобретатель уперся, как бычок, всегда такой разумный, а тут замкнуло у него и ни в какую. «Да впишите же вы их! Не отстанут иначе. Что вам стоит! Директора вы вписали? И их впишите. Неразумно как-то из себя невинность строить в таком раскладе», — вполне дружески советует заведующий отделом легкой промышленности ВНИИГПЭ тов. Блинников. «Не впишу! — кричит изобретатель. — Не впишу!» И, может быть, даже топает ногами. Ему, видите ли, обидно. «Вот так, — говорит директор или он этого совсем не говорит, а только думает, но мысль его точно улавливается, — вот так будет со всеми, кто идет вразрез!» В общем пишутся заявления, идут судебные разбирательства, инженера берут на «понял», его в подъезде кто-то небритый встречает и, дыша в лицо чесночным перегаром, требует вписать. «Ты меня понял?» Стекла пока не бьют, этого не было, но близко к тому, и вот в самый разгар борьбы выясняется вдруг, что делить-то нечего: авторские свидетельства, оба разом отменены. То ли где-то решение состоялось, чтобы не платить, то ли в Комитете по делам изобретений склоки надоели. Но все это только догадки, выяснить, кто конкретно и почему аннулировал, до сих пор не представляется возможным. Концов не найти.

Инженеру приходит официальная бумага по домашнему адресу, из которой следует, что авторские свидетельства выданы ошибочно, кто-то ошибся, ибо есть норвежский патент, опубликованный в 55-м году, и там описана распалочка для сушки меховых шкурок, и она очень похожа. Инженер торопливо идет в библиотеку, достает норвежский патент и через неделю доказывает, что его изобретение ничего общего с распалочкой не имеет. «Ах, верно, — рассмотрев его доводы, охотно соглашается Комитет, — ну что ж...» и предлагает ознакомиться с книжкой «Словарь-справочник по меховому сырью» 33-го года издания, там есть правила для шкурок и, сдается, тоже очень похожая. Автор идет в библиотеку, достает указанную книжку-словарь и через некоторое время доказывает, что ничего общего с той правилкой его изобретение не имеет. Проходит год... «Верно, — в очередной раз добродушно соглашается Комитет и предлагает заглянуть в книгу «Введение в скорняжное производство», — там одна форма есть... Инженер, нервно всхлипывая, идет в библиотеку (а шел бы он куда подальше!), и еще год проходит, а там у Комитета в запасе переписка по вопросам полезности, качества, местам внедрения... Все отработано, и это надолго.

А как же наш изобретатель, мы оставили его откомандированным в научно-исследовательский институт меховой промышленности? Он там не ужился среди докторов и кандидатов наук. И я не стану их су-

дить. Как могут относиться ученые люди к человеку, который один сделал больше изобретений и принес пользы больше, чем весь их институт? Пусть он даже святой или глухонемой, он все равно молчаливый укор. И мы тех научных сотрудников готовы понять, но кто-то другой запросто может подумать, что они бездельники. Изобретатель хочет вернуться к себе на фабрику, но не тут-то было, его место ликвидировано. Он устраивается на работу не по специальности, здоровье его подводит, попадает в больницу, и там — «золотые руки», профессор Петр Михайлович Постолов (тогда еще не профессор, не Михайлович, а просто Петя) на нервной почве вырезает у него половину внутренностей, и правильно, — раньше надо было думать, ему ж говорили: талант — это чухотка и чердак. Не поверил...

И вот работает изобретатель в тихой конторе, перебирает бумажки и вовсю переписывается с Комитетом. А в это самое время в Москву поступают сведения, что в Париже французская фирма «Жан Келиз» — магазины, ателье, залитые светом манекенщицы зябко кутаются в меха — патентует наш родной метод, и, значит, мы, не защищенные авторским свидетельством, захотим продать за границу меховые предметы, сделанные не гвоздевым, а новым, теперь, как оказывается, французским методом, должны будем платить Келизу. И не в рублях, разумеется.

В Комитете по делам изобретений пытались нам что-то объяснить, но невнятно. Двадцать тысяч, со вздохом говорили в Комитете. Но это не сразу, это чуть погодя, когда прониклись доверием, то ли размышляя, то ли мечтая о сокровенном. Двадцать тысяч... И еще двадцать. И в одни руки. «А вам какое дело?» — так не скажешь: мы ж за все в ответе. А потому сидишь и слушаешь.

— Вам долго надо работать, чтоб получить такие деньги?

— Нам долго...

Но, по-нашему, оценивая всякую работу, надо бы учитывать, кроме затраченного времени, еще и принесенную пользу.

Так-то оно так, умно щурится собеседник, а нравственность? И начинается разговор о понятиях моральных, будто в первую очередь надо беспокоиться о том, что, получив такие суммы, человек первым делом непременно оставит семью, кинется ходить по ресторанам и вообще вести паразитический образ жизни. И все это, честное слово, на полном серьезе! Помню круглое лицо нашего собеседника, все в каких-то рытвинах, серое и плоское, как лунная поверхность, его тихий голос, в котором сквозит государственная прозорливость, сокрушающаяся о том, как это нехорошо, если человеку заплатят за одно, потом за второе, потом за третье изобретение. Много получится, а много — это нетрудовые доходы. Трудовые — это когда мало.

Мы ходим по ответственным кабинетам. Мы за наш приоритет воюем, нам обидно, что французы нас обскакали. Платить же придется. Лучше б мы на свое изобретение лицензию продали, глядишь,

и с Келиза бы взяли и еще со многих. «А это пусть у Патолочева голова болит», — отвечает другой собеседник, нетерпеливо барабанив пальцами по столу. Патолочев в те поры был министром внешней торговли, и сама интонация предполагала, будто министр из своего кармана расплачивается, это его, министерские, высокие заботы, а мы люди маленькие, наше дело — сторона.

Я написал тогда фельетон. Я назвал его «Сумму пишите прописью», и он был опубликован, и было это десять лет назад. Тогда было много откликов, читательских писем, и товарищи из Комитета наперебой сообщали радостно, что можно не волноваться: никаких денег платить французу не станем, пусть оборутся, все равно ихний патент нам не указ, и вообще как-то там не так, не страшно складывается для нашей стороны. Ну вот и хорошо. А как же наш инженер, наш изобретатель через десять лет после того фельетона и через восемнадцать после того, как неосторожно решил изобретать (теперешний свой фельетон хотелось назвать «Двадцать лет спустя», мне двух лет не хватило)? Как обстоят его дела и зачем снова возвращаться к нему? Он все так же сражается с патентной экспертизой, он опровергает их возражения, они соглашаются, а потом выдвигают что-нибудь новое. И ощущение у него, точно он сражается с драконом: срубил одну голову, на ее место вырастают две новые. Авторских свидетельств не восстанавливают. Платить не платят, и нет груди, к которой бы мог припасть наш изобретатель и пролить горькую слезу. Нет такого учреждения, которое бы ставило себе целью защитить его интересы. Он для всех чужой вроде кустарь-одиночка или хуже того — технический авантюрист, инженер Гарин, мечтающий разбогатеть за наш с вами счет. Впрочем, никаких денег ему уже и не надо. Он о них забыл. Изобретать никогда не станет. Отучили его. Он требует: «Восстановите мое честное имя!» Вот так.

Ну что с ним поделаешь... По-нашему, в таком разе, гори оно все ясным пламенем, а он сражается, пишет жалобы на Комитет, только все они почему-то туда же, в Комитет, и возвращаются вроде для принятия мер, и заинтересованные люди отвечают по трафарету, единственно — дата каждый раз меняется. И с каждым новым ответом на жалобу такой подтекст просматривается, изобретатель должен понимать, что давно попал в разряд склочников и терпение у руководящих товарищей, отвечающих за изобретательское дело в стране, вот-вот лопнет со всеми отсюда вытекающими...

Тем не менее, недавно была создана высокая комиссия, чтоб в конце концов разобраться, и для начала решено было сравнить старый и новый способы, и выяснилось, что старым, гвоздевым, уже никто у нас в СССР не работает, все перешли на новый, а экономия за эти годы перевалила будто бы за миллиард! Но в ходе выяснения — и это самое главное — обнаружили, что до сих пор невозможно найти того товарища, который отменил авторские свидетельства, чтоб узнать, какие у него были на то основания. Подпись на бланке есть, а чья она подпись, до сих

пор неизвестно. Персонально чья? С кого спрашивать? «Подпись не расшифрована. Чья эта подпись, установить не представляется возможным», — так говорится в официальных ответах, а раз «не представляется возможным», все идет на следующий круг, и конца-края этому заколдованному движению не видно. Такая вот карусель! И это при том, что наш инженер работает рядом с Комитетом почти дверь в дверь. А если б он жил не в Москве, а во Владивостоке или Тюмени, был бы совсем хворым, не имел бы бойцовских качеств характера? Кого это волнует...

Не нужно, конечно, отчаиваться. Жизнь бурлит. Такие перемены кругом! Но временами обидно: с мехами плохо, меховых шапок нет, уши мерзнут. В синтетике голова потеет, и мысли в ней разные. Ладно, что дубленок нет, они не в моде уже и утешаться можно — их нет, зато есть у нас институт овчинно-шубной промышленности, целое научное учреждение, люди диссертации пишут, от этого как-то теплей. Супруга тут достала себе воротник из крашеной кошки. «Смотри, — говорит, — как норочка». Научились. Говорят, специальные люди ходят с мешками по лестницам, отлавливают муток и барсиков. Приспособились. Мы ко всему приспособимся, но обидно. Временами. И мысль такая возникает, кто ж будет двигать нашу технику и науку, ту же металлургию, радиохимию, электронику, в которой я ничего не понимаю, тонкую химическую технологию и разные другие, как теперь говорят, интеллектуально-емкие вещи? Кому все это нужно, для чего и зачем?

ПЕЧАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О РОКОВЫХ СОВПАДЕНИЯХ

Человека зовут Валентин Иванович. Работал прокурором и следователем, в данное время занимается проблемами государственного управления. Валентин Иванович — юрист, и это надо сразу подчеркнуть, из этого многое последует. А речь мы вели о том, что ныне нашего человека ничем не испугаешь. Да и чем его испугать, если он каждый день по магазинам ходит, в очереди за железнодорожными билетами стоял — тоже занятие для джентльмена! — с медициной знаком и в больницу попадал, в палату на двенадцать персон, где трое по ночам под себя делали, как маленькие, а нянечки не дозовешься. Чем нашего человека испугать, оптимиста и труженика, если он сам себе квартиру ремонтировал — не приведи Бог! — полы циклевал, стены красил, из ателье по ремонту цветных телевизоров мастера вызывал. Ждал в течение дня. Понятно, никто не приехал: много было заявок, это мы догадались. Назавтра жена ждала в течение дня. С работы отпросилась. И опять много заявок. А в самом ателье очередь. А кинескопов нет и не будет. Ни концов, ни начал. И старушка в линялом платочке подступает к приемнице: «Вы обязаны!» А в очереди нетерпение, народ зубами скрипит, он,

может, сюда третий месяц как на работу. Дашь кинескоп, мать твою и тетку конопатую в загробное рыданье! Кто кому обязан? Отойди, бабушка! Сгинь с глаз, я за себя не ручаюсь! Не нужен мне ваш телевизор, назад в пещеру хочу. На огонь буду смотреть и выть. Идите вы все...

Ныне никого ничем не испугаешь. А если к тому же нашего человека по гражданскому делу в суд вызывали свидетелем, если с него хоть раз алименты взыскивали, если он в Госстрахе перед тетенькой заискивал, а она говорила: «Эту царапину я вам оплачу, а эту нет...» (Я — вам!) Он вообще, наш человек, после этого хочет жить тихо, смиренно, сам по себе, я вас не трогаю, и вы меня, будьте любезны, не надо. Так вот, наверное, и возникает раннее средневековое со своим патриархальным, мелкотоварным хозяйством в индустриальном обрамлении, и пусть ученые люди скажут, хорошо это или плохо и совмещается ли с задачами сегодняшнего дня. Каждая семья — свое государство, свое княжество с четкой границей по порогу: это мое, а это ничье, а потому на лестнице не подмету и лампочки ввинчивать не стану. И думает наш человек, лежа на диван-кровати рядом со своей хозяйкой под стук будильника «Слава»: ладно, ежели одного не миновать, одно что-нибудь сдую, главное, чтоб не совпало — больница плюс автосервис, или вот милиция, с одной стороны, плюс райсовет по вопросу капитального ремонта с отселением и перенос гаража, где в смотровой яме — сам копал и бетонировал! — картоха хранится на всю зиму, ибо районное наше хранилище другим делом занято: там хозяйственным способом дом себе возводят, и свинка у тебя хрюкает в гаражной темноте — ее ж в городскую квартиру не втащишь, а с мясом временные трудности и, говорят, может породжать.

Всякое совпадение одного с другим, всякий вырыв из привычного уклада жизни почти катастрофа, потому что в любом даже не конфликте, нет, просто контакте нашего рядового гражданина и учреждения, законов, определяющих их взаимоотношения, нет, или, может, они есть, но до сведения не доведены и прецедентов на памяти нет, чтоб сосед исполкому что-нибудь доказал или свояк с профсоюза путевку на сентябрь все-таки выребовал. Никто ничего подобного не помнит, а потому там всегда правы, а ты всегда виноват и мешаешь.

Понимаем, подобные рассуждения носят общий характер и потому неубедительны. Так или иначе, всякое сопадение — частный случай, отнюдь не правило, из которого только и следуют серьезные выводы. Но есть у нас одна история, когда в течение нескольких месяцев одно за другим: сгорает дом, Госстрах почему-то платить потерпевшему отказывается, назначается суд, затем обращаются к прокурору, в это время машина поломалась, надо ехать на станцию техобслуживания, а там какая-то склока началась, до министра дошло, а сам герой этой печальной драмы, Валентин Иванович, доцент юриспруденции, очень настырный насчет общественной справедливости, не очень здоровый, в расстройстве попадает в больницу, и это еще не все... Интересно, подумал я.

Было так: в 1985 году построили потерпевшие дом в одном подмосковном районе, в одной деревне, отличный дом, а через два года он сгорел. Звонят в Москву соседи, кричат: давай, Валентин, в быстром темпе! Валентин Иванович — в машину, примчался, дом догорает. Через два часа приехала пожарная команда. Эти два часа как-то улавливают разницу между личным и общественным, но не будем про это. Шланг развернули, караул приступает к тушению.

Дом был застрахован, и на следующий день, отпросившись с работы, наш погорелец печально едет в районную участковую инспекцию Госстраха, крутится на каких-то задворках, бараки какие-то кругом лепятся, вторсырье, складские пакгаузы, разрытые траншеи с зацветшей водой на дне, никто не знает, где тут инспекция Госстраха, ни указателей, ничего нет, но наконец инспекция эта обнаруживается в жилом доме на первом этаже, тесные коридоры, заставленные шкафами, запомнились, стрекот пишущей машинки за закрытой дверью, ходят какие-то озабоченные люди с бумагами, никому до тебя дела нет, а тут еще как-то косвенно выясняется, что в соседнем магазине с утра выкинули сапоги, девушки примеряют: «Выйдите, товарищ, вам же русским языком говорят!» Но погорелец, человек энергичный, юрист, пробивается к начальнице, молодой, интересной даме, которая, тяжело вздохнув, поднимает на Валентина Ивановича скучающие глаза с поволокой, и он, униженный, торопливой скороговоркой просит выехать на место, осмотреть пожарище, составить акт и при этом наивно пытается выяснить, все-таки сколько же хоть приблизительно, ему выплатят, на что он может рассчитывать. Начальница, занятая своими заботами, зябко пожимает плечами, и на этом первая встреча заканчивается, а через некоторое время, совсем не сразу, в очередной, зный приезд наш юрист узнает, что никаких денег ему вовсе не положено.

Оказывается вдруг, что в инспекции не нашли копии его страхового свидетельства, а значит, выезжать на место никакого резона нет. Он в областную инспекцию, он в Главное управление Госстраха РСФСР, отсюда — в Главное управление Госстраха Союза (игра идет на повышение), потому что, если есть вышестоящая инстанция, низостоящая ничего решить не может или не умеет. Или не хочет. Я не знаю. Ну, думает наш ученый доцент, надо хоть фамилии должностных лиц записывать, а то и не получишь ни шиша да и виноват кругом окажешься сам, поскольку везде так или иначе намекают, что вот-де ходят некоторые, которые сами поджигают, а потом требуют. Он — в суд. Госстрах на суд не является, а потом вроде является, а потом снова не хочет. Доцент обращается к прокурору, и так он ездит по разным адресам туда-сюда, и у него ломается машина. Она даже не ломается, она с самого начала была поломанная, две шпильки в блоке цилиндров были не вкручены, а вбиты кувалдой. Есть такая рационализация-не рационализация — народная хитрость, экономящая время. Лежать легче, чем стоять. Вбить легче, чем ввинтить. Аксиомы нашей жизни. Идем по этой линии, тем

более что согласно документам машина была выпущена в декабре, когда автозавод завершал свой годовой план, и, может быть, именно от этой машины зависело, будет у коллектива премия или нет. Хотя, впрочем, вполне возможно, что сборщики совсем и не виноваты, может, они в это время картошку перебирали или дом строили, помогая строительно-монтажному управлению, которое, в свою очередь, машины собирало для агропрома.

Короче, обнаружив в своей машине такую бяку, Валентин Иванович едет на гарантийную станцию на Дмитровское шоссе. Странное дело, но тот же марсианский пейзаж перед ним — те же буераки, разрытые траншеи, нигде никаких указателей, никто ничего не знает, где тут чинят автомобили. (Обратите внимание, почему все хитрые конторы не любят ни объявлений, ни указателей? Почему там всегда все разбито, расхлыстано, двери сорваны, и суета, и никто ничего объяснить не может, всегда очередь и пахнет уборной?) Ну ладно, наконец наш герой находит эту станцию и директора, молодого человека с туманной улыбкой сицилийского мафиози, который про людей знает все, а потому полон брезгливой снисходительности.

— Нет, — говорит директор, не вдаваясь в подробности, — вы ее, ласточку, неправильно эксплуатировали, а потому гарантийный ремонт вам не положен...

Не положен — значит не положен, мы всегда и премного благодарны, но почему, пытается выяснить Валентин Иванович, однако вразумительного ответа не получает, сдает свою «Волгу» на станцию на три дня, платит за ремонт и автобусом печально едет домой, чтоб через три дня, отпросившись из своего университета, узнать, что машина не готова.

Ладно. Проходит неделя. Потом еще неделя. Потом месяц. К ремонту не приступлено. Это много, если учесть, что с одной стороны Гострах, с другой — станция техобслуживания, в суд надо ездить, потому что в документах по страхованию дома обнаружили какие-то ненадлежаще оформленные справки, какие-то подписи, якобы Виктора Ивановича, но на самом деле ему не принадлежащие. «Я ваших юридических академиев не кончала», — брезгливо говорит начальница. Очень остроумно, но гордиться нечем. По ночам нашему доценту снятся коридоры, туго заставленные шкафами, стрекот той же пишущей машинки за дверью, ни начал, ни концов! «Выйдите, товарищ, не видите, обед! Ну люди...» Все родное до боли, свое. С одной стороны, документы на твою машину вроде бы ушли, где-то они там, в сферах, но ни узнать ничего, ни понять, будто за границу собрался, персонал в халатах мимо проходит, все при деле, рожи серьезные, а ты в коридоре лежишь. Товарищи, где тут главный врач? Не надо! Ничего мне не надо! Весь век пешком буду, новую жизнь начну... Сам виноват!

Но постепенно Валентин Иванович успокаивается и пишет письмо-жалобу министру Автопрома Николаю Андреевичу Пугину, потом — в МК КПСС, потом — в редакции газет и журналов, времени у него достаточно: вместо обусловленных трех дней машина находится на станции восемь — восемь! — месяцев. На Дмитровское шоссе приезжает высокая комиссия, возмущается обнаруженными безобразиями, составляет акт аж на 23 страницах и уезжает. Дело трогаются: Валентина Иванoviча просят еще раз оплатить работу. Он платит. Нате, берите, если на то пошло! Давитесь! Он — еще жалобу. Это он зря. Опять комиссия приезжает, ему возвращают два рубля, чтоб в ответе на очередной акт сообщить, что произведен перерасчет и лишние деньги клиенту возвращены. Наш юрист хочет по закону, он никак не может понять, что люди на самообслуживании, что они на себя работают, а совсем не на тебя, как тебе может показаться. Они там сами выбирают клиента. Что для тов. директора твоя жалоба? Что ты сам для него? Микроб. Что ты можешь? Жену его на работу устроить? Квартиру дать, ну подсобить по крайней мере? Какой навар с тебя? Пластмассу ставишь — один разговор, на каучуке — другой. Шапку можешь достать? Уроки даешь? В МГИМО сына надо ткнуть. Нет? А нет, так жалуйся хоть министру, хоть царю небесному. И вспоминается в связи с этим рассказ одного знаменитого актера, как он в автосервис приехал, и вот с его машиной возится слесарь в ондатровой шапке, не снимая с пальца тяжелого золотого перстня, лениво лезет в мотор, а наш актер, любимец публики, нервничает: время его лимитирует, ему в академический свой театр поскорей хочется, там у него репетиция, делегация, костюм надо примерять, и он говорит, понимая, что слесарь, несомненно, знает его в лицо, говорит вполне демократично, даже дружески:

— Парень, ты бы поспешил. Я тебе бутылку коньяка поставлю.

На что парень отвечает, продолжая беседовать с приятелем:

— Да я тебя в том коньяке выкупаю. Отстань только.

Выкупать не выкупали, но, согласитесь, умыли нашего актеришку. Вот так-то. Трудно в наше время без специальности, а потому нужно понимать дистанцию, и это всех касается, не только ученого юриста Валентина Ивановича, который, так и не получив машины, благополучно попадает в больницу. И смех, и грех, тонкости экие: сердце не выдержало! Ну, как с другой планеты!

Лежит он в больнице и нервничает: он здесь, а машину его где-то там, у забора, курочат, и от всех этих тревожных толчков теряет бдительность, и во время процедуры «барокамера» у него из кармана крадут бумажник с деньгами и документами. Закон парных случаев! Это совсем перебор, я все понимаю, но сюжет-то реальный, взят из самой что ни на есть нашей быстротекущей жизни, я ничего не выдумывал, а потому все тут подлинное, так было, а значит, ничего ни прибавить, ни убавить. Повесил пиджак на гвоздик... Смотреть надо, а еще доцент. (Непонятно только, зачем больному при себе деньги, когда медицина у нас бесплатная?)

Зачем он бумажник таскал?) Немедленно принимаются все меры к розыску, заявлено в 4-е отделение милиции г. Москвы, приезжает следователь, умная собака немецкая овчарка выпрыгивает из машины и, пугаясь тревожных больничных запахов, скользя лапами, робко движется по влажному кафелю. Все быстро, энергично. Но кто сказал, что милиция должна работать как-то иначе, чем Госстрах, автосервис, торговля или медицина? Общественные законы, они, видимо, имеют широкое распространение во всех сферах, и есть все-таки общий индекс, определяющий уровень, потому-то чудес и не бывает. И можно только догадываться, что в милиции план по карманным кражам на данный квартал перевыполнен и уже хватит, или все заняты более серьезными делами, или кого-то сняли, кого-то назначили и личный состав горячо обсуждает. Следует отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления, и новые документы выдать Валентину Ивановичу не спешат.

А как быть без документов? Кто подтвердит, что ты — это ты? Если «корочек» нет, кто ты без «корочек»? — задайте себе такой вопрос, и мороз по коже! Ну пока в больнице, ладно, больной человек, думает Валентин Иванович, а когда выйдешь в большую жизнь без паспорта, без удостоверения, без пропуска в столовую, что тогда? Зря это он, конечно, все так близко принимает, в конце концов барышня выписывает ему новые документы и машину его, заметно поржавевшую, ему отдадут, но он себя разбередил и на собственном частном примере начинает задумываться — а почему так? Почему многие наши институты работают только на себя? Вот как он ставит вопрос. Ему, видите ли, хочется, чтоб наоборот, хотя, конечно, он все понимает, с какой стати, но хочется! Надоело, что ты нужен всем этим и многим другим уважаемым учреждениям настолько, насколько это они сами определили, вот ведь какой, и вспоминается ему бабушка у амбразуры приемщицы, ее высохшие пальцы и наивное: «Вы обязаны!» Никто никому ничего не обязан! Не мешайте людям работать! Вон она, очередь, напирает, а уж там, в окне, гражданочка с бриллиантовыми сережками, будто бы от мамы из дворян, сама решит, кому нужно починить, кому подождать, кому еще раз зайти и еще, и еще... Что вы можете предложить ей, бабушка, с вашей пенсии в восемьдесят рублей? Теплую улыбку? Три гвоздички за рупь пятьдесят? Запись в книге жалоб и предложений, к которой еще надобно сначала прорваться? Кого вы испугали? Тот, кто действительно может ее испугать, тот телевизоры в ремонт не сдает, в очередях не стоит, а дача сгорит — не беда, казенная.

Надоело, что так много усилий требует то, что должно было бы решаться автоматом, само собой: позвонил — приехали, заплатил — починили. (Починили — заплатил, так уж вопрос и не ставится, что вы, что вы... О чем вы... Деньги вперед, это мы отлично понимаем: а ну как наш гражданин сдаст свои ботинки в сложный ремонт, а сам смятую газету кинет, так мало того, сукин сын, на два месяца укатит куда-нибудь в Бу-

энос-Айрес, ищи его потом, свищи в конце квартала, и плакал наш план. Понимаем.)

Причина не в том, что все перешли на самообслуживание. Все или почти все. Пусть она торжествует, наша самостоятельность, во всем, но в разумных все-таки пределах, а то что же это получается? Дилетанты кругом, неумехи, ленивцы, палец о палец ударить — проблема. И главное — нет работающего закона, защищающего такого неизбалованного потребителя, думает наш доцент.

Валентин Иванович, много потерпевший от неустроенности жизни, от всех перечисленных совпадений, долго размышляет над сложившейся практикой и как ученый-юрист приходит к выводу, что надо совершенствовать механизм правового регулирования, пора провести инвентаризацию действующего законодательства, чтоб можно было прижать автосервис. Заклинило у него, и человека можно понять. Однако мне телевизор починили, я как-то подобрел, поскольку достиг своего, а на большее у меня уже сил нет. И, может, поэтому мне кажется, что не в законах дело. То есть не в тех законах. Сколько их, хороших и умных, вводили на моей памяти! Все проще: пусть каждый занимается своим делом — хотя бы в перспективе надо это видеть, — колхоз пусть выращивает свинину, завод выпускает автомобили, дома строят строители, все-таки в принципе, априорно, с большой натяжкой, они это должны уметь делать лучше, чем кто-либо. Это их профессия. А то радуемся — «Дом своими руками!»

Своими. А если своей головой — сколько стоит этот дом? Сколько стоит тот «Запорожец» в моем окне, под которым неделями лежит сосед? Сколько стоит мой телевизор, мой четвероногий друг, я ж на него полгода жизни ухлопал! Он у меня теперь вроде родное существо, член семьи. Сколько все это стоит? Не в рублях, не в киловатт-часах, не в тоннах условного топлива. Нет, даже не так. Не сколько стоит, а во что обходится? Ведь если так, то рядовой гражданин стремится до минимума сократить границы с большим миром, уйти в свою скорлупу. И закрыться. И не то чтобы уютно ему там, и не то чтобы тихо, он совпадений боится, а потому не достучаться до него, если что. Такая вот тенденция есть к сокращению границ и коммуникаций, и в больших, самых главных решениях факт этот надо принимать как реальность. Пора.

ЗА ДЕСЯТОЙ ДВЕРЬЮ

В один прекрасный день у нас обворовали соседа. Оно, конечно, какое мое дело... но все ж таки квартирная кража со взломом, веселого мало, хоть и не смертельно.

Милиция приходит, симпатичный такой лейтенант, и говорить вроде бы не о чем, только вот факт непосредственной близости насторажи-

вает: все произошло на нашей же лестничной площадке, можно сказать, визави, дверь в дверь, и лихо было сработано, что лихо, то лихо, и знали, кого грабят: сосед особо жаловаться не стал, там на этот счет возникли у него свои соображения, и мы его понимаем. «Слушай,— говорит лейтенант,— ты для моей бабы зимние сапоги хорошие можешь достать?» Я говорю, нет.

И он уходит.

И все вроде бы забывается.

Но так или иначе после этого в подъезде начинается нервная суэта, и разговоры какие-то невеселые, тягучие насчет того, что шрапнель рвется ближе и ближе, вспоминают одного из Внешторга, как его у нас на четвертом этаже за милую душу вычистили — всю аппаратуру! люстру — с крюка! ковры смотали и, как всегда, одно к одному, кругом шестнадцать! еще от него жена ушла! не скажу, красавица, но эдакая фирменная нервная дамочка вся на острой шпильке. Ушла к разнорабочему из винного отдела. Ценности меняются. Это я шучу.

Короче, решили у нас укреплять двери, нашелся общественник, свой парень, взял все на себя, список составил, всех обзвонил, обошел, но заминочка сначала выходит, мы чего-то там не добираем до необходимого числа. А нужно ровно десять дверей, потому что умелец, которого приглашают, десятую дверь укрепляет бесплатно. За девять плати, а десятая — бесплатно. Такая жизненная арифметика. И мы, конечно, сразу соображаем, чья это будет десятая дверь, как же, как же... Нас кипучая наша жизнь научила, воспитала, подговорила, не дети в самом деле, мы к этому приучены, оно всегда так делается. И ладно.

Проходит некоторое время, и вот в одно прекрасное утро в воскресенье является умелец Леша, и пока он гудит дрелью этажом выше, мы приоткрываем свою дверь, пса загоняем на балкон, чтоб Леша нас ни в коем случае не пропустил, не обошел вниманием, ждем, и вот минута в минуту, как было условлено, все точно! К нам спускается молодой человек в элегантном сером финском пальто, в мягкой шляпе с узкими полями, открывает свой элегантный атташе-кейс, достает элегантную, синюю с красным, очень красивую электродрель, резиновые перчатки, накидывает на себя рабочую джинсовую на латунных плоских пуговицах курточку, расстилает на пороге оберточную бумагу, чтоб потом ее сложить и выбросить вместе с мусором, и берется за дело, и так у него все ласково, так ловко получается, так все точно, такие он разные блестящие складные деталюшки винчивает в наш дверной косяк, что кажется, он всю свою жизнь только тем и занимался, что укреплял двери.

Затем, получив свой четвертной, он чистыми пальцами кладет его в элегантный кожаный бумажник, не матерится, ничего, на пол не плюет. «Хозяин, где у тебя тут туалет, я по..... хочу?» не спрашивает, а тихим голосом говорит спасибо (спасибо говорит!), ну, это уже совсем через край, и так это не похоже на то, что нас окружает в нашей повседневности, к чему мы привыкли, что мы прямо-таки теряемся, нам за себя де-

ляется неудобно, мы ощущаем смущение и робко приглашаем Лешу выпить с нами чаю, там у нас варенье, печенье, он на часы смотрит, слово за слово, интересуемся, как теперь наша дверь, выстоит, нет ли, если танком, и выясняется, что Леша — хирург! кандидат медицинских наук! старший научный сотрудник! пишет докторскую!

Я не знаю, какой он хирург, хороший, наверное: руки у человека хорошо приделаны, и работать умеет, вообще **работать**, а это такая редкость, о чем говорить, и я не против, пусть себе работает, но мне непонятна ситуация, при которой хирург укрепляет двери, в то время, когда в его институте больные лежат, ждут очереди на операцию. Сама собой возникает мысль, может, лучше его все-таки на полную мощность по прямому назначению использовать? Смешно. Но компьютер смеяться не станет: железяка этого юмора не поймет. Она тут не разберется, ибо не сможет почувствовать, что с этой странной ситуацией напрямую стыкуются другие, как-то неявно, но совершенно очевидно. Ну вот — есть Хрустальный завод, несколько тысяч работающих (говорят, восемь) варит, гранит хрусталь, который последнее время не шибко берут, то ли цены на него взвинтили — на хрусталь и на ковры, как на предметы роскоши (не первой же необходимости вещь?), то ли качество виновато (низкое качество роскоши?), то ли, если призадуматься и совсем откровенно сказать — многие причины себя обнаруживают, но только выпускает завод хрусталь, который совсем не нарахват, а рядом с производственными цехами имеет ферму, на которой выращивает свиней. Все очень прекрасно, можно сказать, замечательно, мясо идет в заводские столовые, но при этом в 12 километрах от Хрустального завода зачем-то есть колхоз, специализированное свиноводческое предприятие, которое выращивает свиней и в виде подсобного промысла гранит хрусталь! Круг замыкается, отражая в себе какой-то коренной закон современного бытия, понимание которого заставляет не удивляться тому, что наш человек на все руки, надо — сам починит, перелицует, покрасит, форточку врежет, шапку сошьет, портвейн сварит, а хочешь — мадеру, это сложней, это карамель в стиральной машине нужно крутить, он никого звать не станет, все сам! сам горящий телевизор загасит, выключит, сам тепловоз остановит, милиции скажет: «Вяжите меня, это я рельс отворотил! второй месяц всем коллективом металлолом собираем!» А с дверью, извините, — неувязочка, исключение из правила: долбежки много, тут уж ничего не поделаешь, кругом — бетон — бетон, это хирурга непременно надо звать. Доктора. К тому же наш дядя Петя, наш плотник из нашего ДЭЗа, с утра сизый и жарко полыхающий винным духом, все лето нетвердо простоял в очереди в булочной за сахарным песком и, говорят, в подсобке у себя варит самогон и третий месяц никого туда не пускает. Наш человек, наши люди, обратите внимание, на все руки, умеют делать все, ну абсолютно все, за исключением основной своей работы, и почему так, хочется иногда разобраться.

Каждый сам себя лечит, чинит, чистит, обстирывает, на шести сотках по два урожая риса сымает, и дома у него, в своими руками отремонтированной панельной квартире в тридцать один метр (дети, трое, однополые, больше не дают), у окна, под люминесцентной лампой (с завода со своего унес, соседям можно мозги пудрить, что, мол, на космос или на оборону работаем, будут уважать) зреет, распускает листочки раннеспелый лимон — витамин С к Новому году, и работать нашему человеку в общественном секторе как-то, мягко скажем, неохота и, по себе знаю, просто некогда. «Все перешли на самообслуживание!» — напиш такую на дверях предлагаю, подчеркивая остроту момента, вместо многоуважаемой — «Все ушли на фронт!» И пусть меня накажут!

Вот отчего получается, что врачу в больнице не до тебя (он в лучшем случае двери укрепляет), таксист мимо проезжает, очень ты ему нужен с рублем: у него план и себе надо заработать, а то не понимаем! и продавцам в магазине тоже не до тебя, они в равной степени, как и ты, грешный, заняты личными своими многотрудными делами, попробуй цыкни на труженика прилавка, призови его к порядку, так вся очередь, наши все, станут за него горой: ведь он же при должности, ведь он же запросо такого тебе настругает, иди потом ищи справедливости. Где тут директор? Нет директора! Кто следующий? А наш человек в очередях настоялся за столько лет и очень прекрасно это усвоил и потому закивает:

— Гражданин, однако, не мешайте ему работать, — один говорит и губами издает чмокающий звук вроде — тпру... — как будто останавливает лошадь. Или даже осла. По крайней мере так он на меня смотрит. Как на осла.

— Склочник у нас жил тоже вот... — говорит бабушка с кошелкой, и плечики ее трясутся от беззвучного смеха. Она продавцу тепло подмигивает, и он, чувствуя такую мощную поддержку масс, скрещивает руки в засученном по локоть несвежем халате. На его волосатой груди покачивается на золотой цепочке новенькая бляшка, знак зодиака. Лев. — Сам бы постоял за прилавком целый день, не так бы запел. Ногги-то гудут...

Продавец начинает капризничать и готов выгнать меня из очереди. Сейчас скажет: не буду отпускать! — и все. Интеллигент, стоящий рядом, брезгливо отворачивается на всякий случай, он ни при чем, он читает на стене «Нормы отпуска продовольственных товаров в одни руки». Он меня не знает. Он ни при чем.

Дорогие граждане! соседи по очереди! братья и сестры, друзья! да зачем же мне стоять за прилавком, у меня ж другая профессия. Внемлите! Куда там...

Приятно смотреть, как твои же соотечественники продают тебя за сто граммов любительской колбасы. Это, конечно, на любителя, ну да ладно, надо мимо пройти, повернуть за угол и забыть. Мелочи жизни. И самому попытаться хоть в мечтах попасть на какую-нибудь должность

и стать нужным человеком, от которого хоть что-то да зависит, чтоб перед тобой заискивали и жить помогали. Хочу быть слугой народа! И не в зарплате дело, чего уж тень наводить, там чаевые хорошие. Бегать не надо, стоять не надо, толкаться, а это тоже что-то стоит. Так-то вот.

Странно устроено в нашей жизни, если внимательно присмотреться. Нет, чтоб разделить обязанности, как и положено в современном обществе, всех в патриархат тянет, чтоб тыном огородиться, и ну вас всех с вашим электричеством. Танечка, зажги лучинку! — и так хорошо... Все стараются перейти на полное, фатальное самообслуживание. И рядовой гражданин, и каждое уважающее себя учреждение — министерство, ведомство, просто контора какая-нибудь, самая захудалая по ремонту там и реализации, первым делом стремится все делать сама себе. Сама для себя. И только так.

Вы ели когда-нибудь сардельки, выпускаемые на металлургическом комбинате? их «директорскими» называют. (Давайте задумаемся: почему?) Отличная вещь! Честное слово. Сталь плохая, но это уже мелочи, ибо к этим сарделькам давайте не спеша приплюсуем-ка свою поликлинику с вежливыми врачами и некрикливыми сестрами, с белыми занавесочками на окнах, свой стационар, куда чужого не положат, свои автобусы, чтоб было на чем ездить в часы пик, а то женщины жалуются: ладно, дают, так ведь еще и нахалы кругом; к этому не забудем свои ведомственные садики, куда постороннего ребеночка никогда не возьмут, ату его, чтоб он с детства кое-что понял, лопухий, насчет того, о чем вслух не говорят, хватит, понимаешь ли, идеалистов воспитывать! нам нужны люди со стойкой жизненной позицией. А то еще: солидно иметь свою меховую мастерскую, чтоб руководству — шапки, а ихним женам — шубы, и там свои интриги: наш барин главней вашего барина, и специальный мужик тоже свой парень, какой-нибудь Санька-Талончик, который талоны раздает и по списку следит, кому — ондатра, кому — цигейка-мутон, кому — крашенный заяц. И все это большое хозяйство — садики, мастерские, заказы, автобусы... — всем этим заниматься надо. Все это отвлекает от главного дела, которое посторонним стало. К тому же такой должности «свой парень» в штатном расписании нет, и он у нас непонятно кем проходит, он у нас главный специалист, он дежурный врач, он писатель, какая разница! мы сами за него все сделаем, поможем, книгу издадим, на воздушном шаре покатаем, два года кряду безвыездно в заводском профилактории держать будем. Только пусть он нас от повседневных наших бытовых забот освободит!

И это на всех мыслимых уровнях проходит, если взгляд по всем городам и весям кинуть. Так что ж мы делаем, ведь свои парни страну разнесут. А что делать? Мы еще наш буфет забыли, который не для всех, нет, нет, а для тех, кому положено — кем? когда? — и наших буфетчиц, как они ввечеру спускаются с заднего крыльца, и как вся страна узнает их по этой неприступной надменности в глазах, по этой походочке человека, чувствующего свою суровую незаменимость. Да, а наш магазин!

эдакий магазинчик с черного хода, к эдакой тете Мане, мы — вам, вы — нам, а наш зеленый цех, оранжерея и теплица для выращивания цветов в букеты передовым работницам к 8 Марта и к столу президиума (теперь это модно) и еще — ранних огурчиков с помидорчиками, чтоб в салат и под это дело на винте, тоже надо достать, не просто так, имеем трудности. А что мы выпускаем, я уж забыл... Что мы делаем, выпало как-то из головы, пока то да се. Строим? Нет, это у нас есть строительный трест, но их всем коллективом на картошку в 24 часа, а мы — временно. Лечим? Ну, так, если по мелочи, чтоб в очередях не стоять. Чиним? Да нет, это не серьезно. Совсем забыл! Мы ж сардельки выпускаем. Я ж о металлургическом комбинате...

СОДЕРЖАНИЕ

Знаете, понимаете	3
Цветы, цветы...	18
Про злых разбойников, добрую буфетчицу и шестьсот пирожков с по- видлом	25
У кого болит голова?	29
Печальные размышления о роковых совпадениях	36
За десятой дверью	42

ЗНАЕТЕ, ПОНИМАЕТЕ...

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Евгений Николаевич

Рассказы и фельетоны

Редактор В. Н. Вигилянский

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 03.07.89. Подписано к печати 11.08.89. А 08901. Формат 70 × 108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл.
кр.-отт. 2,28. Учетно-изд. л. 3,26. Тираж 150000 экз. Заказ № 884 Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Лени-
на издательства ЦК КПСС «Правда», 125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

● Говорят, что кооператоры — люди богатые. Увы, когда стихийные бедствия, пожары, взрывы, аварии, а также умышленные (неправомерные) действия третьих лиц и другие непредвиденные события наносят существенный вред имуществу, даже кооперативы часто не могут обойтись без посторонней помощи. Такую помощь им готов оказать госстрах.

По желанию страхователя с ним могут быть заключены следующие договоры:

— основной, по которому страхуется имущество страхователя или являющееся совместной собственностью кооперативных, государственных и других организаций: здания, сооружения, объекты незавершенного капитального строительства, машины, оборудование, транспортные средства, суда, продукция, сырье и другое имущество. Этот договор может быть заключен в полной балансовой стоимости имущества либо в определенной доле, но не менее 50% ее;

— дополнительный, по которому может быть застраховано имущество, полученное страхователем по договору имущественного найма или принятое от других организаций и населения;

— договор страхования животных, многолетних насаждений и урожая сельскохозяйственных культур;

— страхования имущества на случай кражи со взломом и грабежа.

Договор заключается на один год или более длительный срок. С сезонными организациями может быть заключен на срок от 3 до 11 месяцев.

Более подробную информацию можно получить в инспекции госстраха.

● Заключив договор страхования, кооперативные и общественные организации защитят себя от последствий неблагоприятных событий.

Правление государственного
страхования СССР.